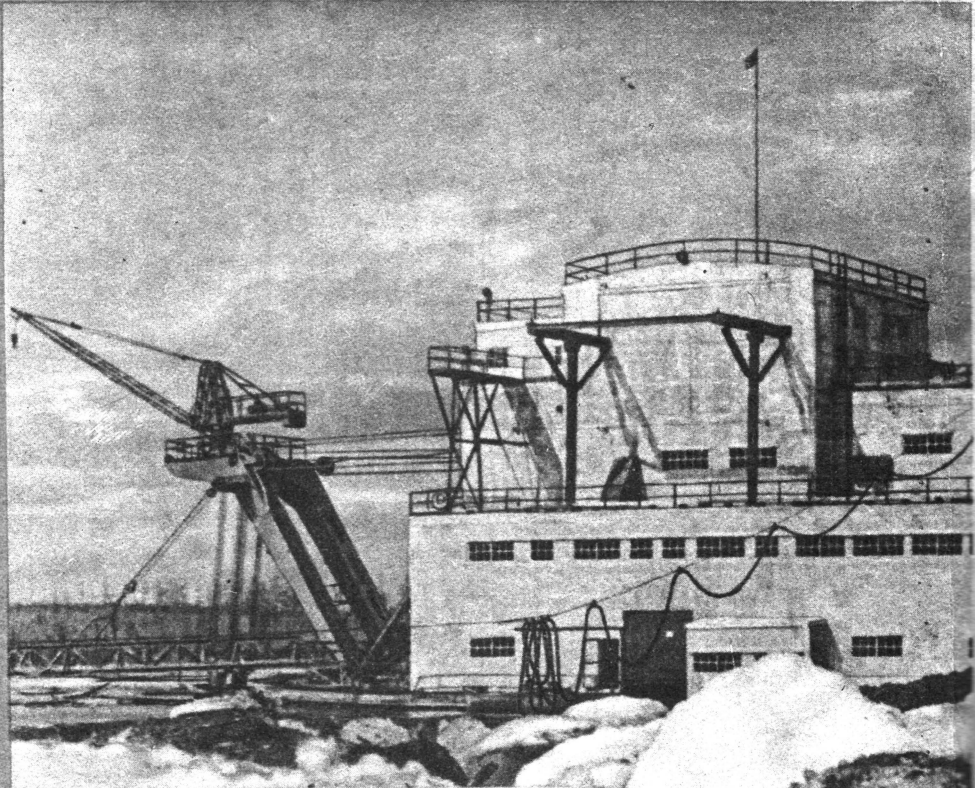


УРАЛЬСКИЙ
Следопыт

11
1969

На золотом
прииске



Уральские
геологи

Фото А. НАГИБИНА



Литературно-художественный
научно-популярный ежемесячный
журнал для детей и юношества.

Орган Союза писателей РСФСР,
Свердловской писательской
организации и Свердловского
обкома ВЛКСМ

Год издания двенадцатый

11

1969

У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕДОПОЛЫМ

ЛОДЕЙНЫЙ КОРМЩИК



Повесть

Евгений БОГДАНОВ

Рисунки Н. Мооса

Шумит ручьями бор и дол:
Победа, Росская победа!

М. В. Ломоносов.

День Военно-Морского флота. Набережная полна народа. У парадета ее, внизу, на откосе берега, на песчаном пляже, где так солнечно и весело было днем, собрался весь город. Мужчины, женщины, дети, солдаты, моряки торгового и тралового флотов, речники.

2 Пожилой капитан, когда-то еще ходивший на парусниках, беседует с молодым товарищем в мичманке и с золотыми шевронами на рукавах кителя.

— Вот на этом месте в Великую Отечественную мы стояли, когда вернулись из похода в Норвегию,— говорит капитан.— Наш сторожевик сопровождал большой транспорт...

Корабли выстроились на фарватере ровной линией. Расцветены огнями. Гирлянды огня отражаются в спокойных двинских водах.

У самого парадета молча и неподвижно стоит рослый, немного сутулый старик-помор с седыми усами и старательно выбритым морщинистым подбородком. Щуря маленькие, выцветшие глаза,

он задумчиво смотрит на корабли и беззвучно шевелит губами.

Что взволновало старого морехода? Может быть, вспомнил он свою молодость, когда бесстрашно ходил на паруснике к Новой Земле, к Мурманску, не раз подвергая свою жизнь смертельному риску? А возможно, вспомнил он о далеких седых временах, когда здесь рождался российский флот и вероломные чужеземцы под-

крадывались к двинским берегам, чтобы захватить молодой Архангельский порт, закрыть русским выход в моря для мирной торговли с северными соседями?..

Ветер времени бесстрастно листает страницы истории.

Не так уж древен Архангельск, ему всего триста восемьдесят лет. Но славна и богата его жизнь событиями...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Двинской воевода Алексей Петрович Прозоровский пребывал в великих заботах. Указом царя Петра Алексеевича, получившего от верных людей известие о том, что шведы собираются напасть на Архангельск и закрыть ворота Российского государства в Европу, воеводе предписывалось немедленно принять меры с тем, чтобы враг, ежели сунется на Двину, получил решительный и хорошо организованный отпор.

Царь тревожился не напрасно. Архангельский порт стал оживленным пунктом торговли России с заграничьем. Сюда во время навигации приходили иностранные корабли под голландским, английским, датским, шведским и французским флагами. В 1689 году прусский посланник в Москве добился разрешения торговать с Россией и для подданных курфюрста Бранденбургского. Начались торговые отношения Пруссии с Россией.

В летнее время город на Северной Двине наводняло московское, ярославское, костромское и другое купечество, привозившее на ярмарки свои товары. Янтарное русское зерно заполняло трюмы заграничных шхун, барков, бригов и баркентин, пришвартованных к деревянным причалам напротив гостиных дворов. Иностранцы, называемые русскими общим именем «немцы», — будь то голландцы или французы, шведы или норвежцы, — покупали смоленский воск и болховскую юфть, стародубскую пенку и вязниковское льняное полотно, симбирское сало и суздальские холсты, сибирские меха и городецкие рогожи. Все это в обмен на английские и брабантские сукна, сахар, писчую бумагу и бархат с камкой, красную брусковую медь, драгоценные камни, пряженое золото и тонкие заморские вина. На черную икру, смолу, поташ и шелк казна приобретала пушки, ружья, порох для войска.

Торговля вдохнула жизнь в обширный лесной беломорский край и родила подсобные промыслы — лоцманский, извозный, бочарный, кожевенный и грузицкий — дрягильный.

Город стал колыбелью отечественного парусного судостроения. На стапелях только что созданной баженинской верфи на Вавчуге, что напротив Холмогор, строились торговые суда. На острове Соломбала, близ Архангельска, весной 1700 года под руководством искуснейшего мастера Избранта, присланного Петром, было заложено на новой верфи шесть кораблей одновременно.

Война со Швецией грозила разором этому краю и всем планам дальновидного Петра на Се-

вере, и не случайно письмо царя было полно тревоги. Петр Алексеевич распорядился укрепить артиллерией и ратными людьми городской берег, где стоял Архангельск с его гостиными дворами, английской, голландской да русской пристанями, живее строить Новодвинскую крепость на острове Линской Прилук, в судоходном Березовском устье, где проходил главный страж — фарватер

Петр повелел «засорить» Пудожемское да Мурманское устья, набив камнями и затопив старые суда, послать на берега, на острова стрельцов с пушками, окопаться там, снарядить брандеры и быть готовыми к встрече неприятеля.

Двинская дельта обильно испещрена островами и островками, многими протоками, рукавами, и чтобы оборонить ее, требовались немалые силы, недюжинное воинское и саперное искусство, которыми Прозоровский отнюдь не отличался. Воевода был самолюбив и крут не на дела, а на расправу с подчиненными. Царь это знал и потому приставил к нему советником в военных, гражданских и строительных делах опытного и деятельного архиепископа Холмогорского и Вяземского — Афанасия.

Петр хорошо узнал Афанасия, когда тот сопровождал его при поездке в Соловецкий монастырь в мае 1694 года. Это было второе посещение царем Архангельска. Тогда на Соломбальской верфи был построен к приезду царя первый корабль. Петр Алексеевич прибыл из Вологды на двадцати двух стругах со свитой и солдатами-гвардейцами, которые должны были служить экипажами на новых кораблях. Царские струги торжественно причалили к Мосееву острову. Едва успев отдохнуть с дороги, Петр Алексеевич поспешил в Соломбалу на двадцатого мая под пушечные залпы спустил на воду коммерческий парусник «Святой Павел».

Потом на яхте царь отправился на Соловки, попал в сильный шторм в Унских Рогах, близ Пертоминского монастыря, едва спасся и вернулся в Архангельск. В этих поездках Петр достаточно хорошо изучил Двинское устье, а заодно и Афанасия.

Ранней весной 1701 года к острову Линской Прилук то и дело подходили весельные и парусные суда — кочи и баркасы — с тяжелыми грузами. Везли кирпич и известь, топоры и лопаты, кованные в Архангельских и Соломбальских кузнях железные поделки, муку, крупу, соленую ры-

бу и другой провиант для работных людей. Специальным царским рескриптом к строительству крепости на острове привлекались семь городов — Устюг Великий, Вятка, Соль-Вычегодская, Тотма, Кеврола, Чаронда и Мезень. Около тысячи восьмисот каменщиков, плотников, землекопов и иных мастеровых на берегу Прилука, напротив судоходного фарватера, заложили Новодвинскую крепость.

Сюда прибыл сведущий в строительных делах расторопный стольник Селиверст Иевлев для надзора за постройкой крепостных сооружений и за работными людьми. Возводил крепость инженер Егор Резен. Солдатский голова Животовский организовал охрану будущего сооружения и Березовского устья. Солдаты установили на Прилуке три артиллерийских батареи. Пятнадцать орудий были поставлены на острове Маркове, по другую сторону Малой Двинки. Под началом Животовского было четыреста солдат.

Не забыли и других, удаленных от Архангельска важных беломорских пунктов — Кольского, Пустозерского, Сумского, Кемского, Мезенского острогов и Соловецкого монастыря. Всюду разослали из Холмогор воинские отряды. На всех берегах трепал стрелецкие кафтаны беломорский ветер-свежак.

С острова Мудьюг — от ворот в Двину — лоцманы, в обязанности которых входило встречать и провожать иноземных гостей, были переведены на остров Марков. Оставляя лоц-вахту в отдаленном и незащищенном месте было рискованно. На Мудьюге жил лишь небольшой воинский караул.

Прозоровский и Афанасий в короткое время выполнили большую часть распоряжений Петра. Обоих теперь тревожила охрана незащищенного города.



Майским вечером воевода и архиепископ прогуливались по берегу Двины. Половодье спало, но река оставалась широкой, многоводной, и даже под ослабевшим к вечеру ветром-полудником по ней катилась зыбкая крупная волна. У пристани стояли купеческие суда — две лодьи, рыбацьи кочи и карбасы. На судах было пусто, одиноко маячили на палубах людей только вахтенные.

Пустынно было и на берегу. Возле амбаров и складов со смолой и канатами не видно подвод, не слышно обычного галдежа извозчиков да приказчиков. Лишь, позевывая, ходили купеческие сторожа с бердышами, ожидая смены.

Прозоровский в кафтане немецкого покроя, русской собольей шапке, осторожно ступал шевровыми сапогами по дощатым мосткам. Мостовая была неровная, и воевода боялся оступиться. Афанасий важно постукивал по доскам можжевеловым посохом с блестящим серебряным набалдашником, еле уместавшимся в руке. Посох был крепок и тяжел, и хватка у архиепископа, бритого, по-нынешнему, петровскому времени, была крепкой и надежной. Иногда Прозоровский и Афанасий шли в ногу, рядом со щегольским шевровым сапогом воеводы, сшитым впритирку, по мерке, опускался простой, грубоватый, начищенный до блеска, яловый сапог архиепископа. Теперь Афанасий более, чем когда-либо, занимали дела мирские, и одет он был по-мирскому — в кафтан из сукна крестьянского тканья, из-под которого виднелась шелковая черная ряса.

Продолжали начатую беседу:

— После Наровы здесь попробуют шведы пощупать нашу силенку,— говорил Афанасий.— А Карл — враг хитрый и опасный. Не напрасно государь так печется о бережении устья Двинского! Однако у нас с тобой, воевода, город обнажен, яко сырый нищий...

— Ратных людей не хватает,— отозвался воевода угрюмо.— Всех распахали по островам. Где возьмешь солдат? Где пушки? Кабы могли, сами бы отливали. В одном только Березовском устье их поставлено три десятка! А тут,— воевода кивнул на каменные стены гостиных дворов,— сто пищалей для обороны города мало. Ох, мало!

— Нужно позаимствовать на лето пушки у иноземцев,— Афанасий остановился, ткнул посохом в сторону кораблей, стоявших на Двине, в гавани, напротив гостиных дворов. Мачты и реи резкими черными линиями вписывались в розовую зарю. Розовые чайки лениво кружились над стоянкой.— Уговоришь купцов дать пушки взаимы — ладно. Не захотят взаимы — пусть продадут. Иноземцы теперь заперты в Двине царским указом. Лоцмана не дашь — в море не выйдут.

— А не будет это своеволием? — спросил воевода.

— Государь сие предприятие только одобрит. Он любит решительность,— твердо сказал Афанасий, подкрепив свои слова стуком посоха о доски.— Два полка стрелечных, кои из Холмогор пришли,— тоже сила. Нужно уметь ею распорядиться.

— Сила ли? — возразил воевода.— Полтыщи малолетних московских драгун. К бою мало обучены, в ратном деле не бывали! Пушкарки не ведают, как фитиль запалить!.. Остается уповать на всевышнего!

— Уповая на всевышнего, надо шевелить мозгами самим,— голос Афанасия звучал мягко, вразумительно.— Не умеют, говоришь, фитиль

запалить? Стало быть, князь, учить надобно. Не медля. И стрельцов и драгун тож диспозиции обучать. На стены выводить, чтобы всяк знал свое место в случае чего... Учить ближнему, рукопашному бою, абордажному делу! И суденышки на всякий случай держать под рукой, чтобы при появлении неприятеля быть готовыми идти на сближение. Вот что надобно, Алексей Петрович!

Прозоровский задумался. Архиепископ говорил дельное. Чувствовал Прозоровский — не зря к нему приставил царь Афанасия. Вздохнул: опять заботы! Черт бы побрал и шведов, и этого советчика в рясе. Ишь как рассуждает: божья милость будет или нет, а драгун диспозиции обучать, суденышки держать под рукой, абордаж... Ему бы не посох, а шпагу...

— Всем ли дан указ в море не ходить? — спросил Афанасий.— Государеву волю следует исполнить немешкотно. Надо, чтобы рыбаки весла сушили по измам.

— На острова послана грамота. Во все монастыри тоже.

— Так. А то выйдут на промысел — и угодят шведу в лапы. Да еще язык развяжут под пыткой, и узнает неприятель слабости наши. Никак этого допустить не можно.

Повернули в проулок между угловой башней и таможенной избой. Назяблись, находились, пора и на покой, в теплые хоромы.

Воевода решил:

— С утра позову иноземных купцов. Возьму у них пушки.

Афанасий молча и утвердительно склонил седоватую голову.

Никола-Корельский монастырь, как и все монастыри в низовьях Двины, будучи в близком соседстве с морем, жил большей частью за счет промыслов. Ранней весной монастырские рыбаки шли на семужий и зверобойный промысел, а после — ловить треску и палтуса. Рыбу сушили, солили и вялили про запас, а часть ее отвозили в Архангельск, на свое подворье, не раз меченое пожарами, продавали купцам и приказчикам, прибывшим из глубин России. От ловецкого промысла монастырь имел немалый доход.

Настоятель монастыря, получив письмо от князя Прозоровского, в котором тот извещал о царском запрещении выходить в море, прочитал грамоту и спрятал ее в ларец: шведы далеко, а рыба близко. С божьей помощью можно будет послать шняку с ярусом¹ за треской, наказав кормщику, если увидит шведа,— наскоро выгребать к берегу.

Кормщиком монастырский келарь Тихон на этот раз, как, впрочем, и всегда, решил послать Ивана Рябова — крестьянина-помора из ближней, приписанной к монастырю деревни.

Иван поднялся с петухами, посмотрел в окошко. Рассвет был спокоен и золотист. Он обещал хорошую погоду.

Уже несколько дней дул полудник — южный

¹ Ярус — снасть для лова.

ветер. На улице веяло теплом начинающегося лета. Для июня погода была довольно устойчива. В прошлом году в это время в гортле Белого моря царил зыбь, суматошная толчея волн. Кипело студеное морюшко, как вода в котле, бурлило, посылало рыбаков на утесы, на мели, рвало паруса на мачтах, заливало посудины. Северо-восточный ветер-полуночник тащил и тащил откуда-то из океанских далей, как из прорвы, рваные облака, туманы, непрерывные промозглые дожди, а иной раз и снег. Плохо было рыбакам, тоскливо рыбацким женам, беспокойно монастырскому начальству.

Радуюсь хорошему утру и считая это добрым предзнаменованием, Иван стал одеваться: обул бродни, аккуратно застегнул ремешки под коленями, натянул парусиновую куртку, подбитую собачьим мехом, нахлобучил шляпу с широкими полями, сшитую собственноручно на манер голландских зюйдвесток. Удобна такая шляпа — дождевая вода, брызги от волн не попадают за воротник, скатываются по плечам, по спине.

Жена Марфа — полнотелая, сероглазая, подоив коров, цедела молоко сквозь ситечко по кринкам. Сказала неторопливо, певуче, будто гостя потчевала:

— Выпей-ко, Иванушко, молочка-то на дорожку!

Иван принял из ее больших, белых рук кринку, приложился к холодному глиняному краешку и выпил теплое парное молоко без роздыха. Причмокнул, отер губы:

— Ну, пойдю.

— Иди, Иванушка, с богом!

Он взял с лавки приготовленную женой сумку из нерпичьей кожи с харчами, обнял Марфу и тяжело шагнул за порог. Заскрипели ступеньки высокого крыльца. Жена, выйдя следом, придерживаясь за точеный столбик, провожала его тоскующим тревожным взглядом.

Все поморки вот так испокон веку провожали своих мужей, а проводив — ждали. И было это ожидание длинным и томительным, как осенняя дождливая ночь. Часто выходили на берег, вглядывались из-под руки в пустынное море и, причитая и плача, обращались к ветрам, ведавшим рыбацкими судьбами: «Восток да обедник, пора потянуть! Запад да шалоник, пора покидать!» Кричали навстречу ветрам так, что захватывало дыхание. Грустно и надрывно пелась песня:

Облети, облети, гагара,

Все морюшко наше Студеное!

Огляди, огляди, гагара,

Все островки да все устьяца,

Все устьяца да все угорышки,

И за Тулью-то гору ты загляни.

И за салму-то ты кинь-ко взгляд!

Воротись, воротись, гагара, ко мне,

Расскажи, расскажи, где мой родненький?

Где бедует-горюет мой рыбачок,

А и мой рыбачок со товарищи...

Истинный праздник был, когда рыбаки возвращались с моря живехонькими, с богатым уловом...

Иван, не оборачиваясь, шагал, все удаляясь. Марфа смотрела ему вслед и шептала:

— Храни тя господь от беды, от злой непогоды, от безрыбья...

На берегу, у монастырского причала, рыбаки уже погрузили в шняку — поморское одномачтовое судно — снасти, наживу, воду в бочонке, продукты. Вдоль бортов уложили наготове весла. Келарь Тихон, в подряснике, скуфейке, смотрел из-под руки на ровную, блестящую под солнцем волну. Редкие белые облака, подсиненные снизу, как сказочные кораблики царя Гвидона, бежали по небу, вычищенному ветром до блеска. Иван подошел к шняке, поздоровался с мужиками, подал зуйку Гришке — мальчугану лет шестнадцати — свою сумку. Тихон окликнул:

— Иванко! Подь сюда.

Иван подошел, келарь взял его за локоть, привлек к себе, спросил негромко:

— Шведской флаг видывал?

— Доводилось видеть. А что?

— Ежели в море заметишь его на судах — не мешкая выгребай к берегу. К кораблям близко не суйся. Нонче ждуть в Архангельск шведа воинского, с пушками да солдатами. Не оплошай, не дай завладеть ему шнякой. Людей береги, спасайся по мелководью...

Иван кивнул и, размышляя над этими словами Тихона, ступил на причал, спустился в шняку. Тихон убрал сходни и по монастырскому обычаю троекратно перекрестил отчалившее судно. Рыбаки обнажили головы, помахали шапками, взялись за весла. Иван положил крепкую ладонь на румпель:

— Навались, братцы!

Выгребли на полую воду, подняли парус. Шняка, подхваченная широким полудником, заскользила по волнам. Кормщик взял курс на остров Сосновец.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Четыре сорокавосемипушечных корабля, два двадцатичетырехпушечных фрегата и яхта, вооруженная десятью орудиями, на всех парусах бежали в Белое море курсом на зюйд-ост. Шведская военная эскадра, предводительствуемая адмиралом Шеболандом, шла «запирать» выход России в Северную Европу через Архангельский порт. Адмирал рассчитывал на то, что у русских нет военных судов, и мечтал захватить самый город Архангельск.

Однако подход эскадры уже был лишен

такого важного преимущества, как внезапность. Еще в мае русский посол в Дании Измайлов сообщил Петру о предстоящем загадочном походе шведов. Снаряжали шведы военные суда под видом китобойной флотилии, якобы собирающейся выйти на промысел в Гренландию. Но зачем гренландским китобоям нужны штурманы, хорошо знающие Баренцево и Белое моря? «Нашли дураков! — сказал Петр, получив это известие. — Белыми нитками черный кафтан шью!»

Стоя на палубе флагмана, Шеболанд осмат-

ривал в зрительную трубу пустынный горизонт. Он плотно позавтракал, выпил рюмку датской водки и был в хорошем настроении.

Шеболанд рассказывал вахтенному офицеру, как англичане открывали Китай и Индию... в Белом море: «Сей исторический опус любопытен!» — говорил он.

В 1553 году английский король Эдуард VI послал три корабля на поиски северо-восточного прохода в Пекин и Индию. Два корабля погибли во время бури, а третий — «Эдуард Благое предприятие» — под командой старшего кормчего Ричарда Ченслера вошел в устье Северной Двины и бросил якорь у Николо-Корельского монастыря, переполошив своими размерами рыбаков-поморов.

Эту историю и вспоминал Шеболанд. Но как бы то ни было, буря, разметавшая корабли англичан, помогла им открыть для себя великую Московию, завязать с ней дружественные торговые сношения. Россия, по словам того же Ченслера, была «подобна молодому коню, которого, несмотря на всю его силу, может обуздывать малый ребенок».

Времена Ивана Грозного и нынешние Петровские времена — не одно и то же. Шеболанд это понимал, и потому на ясный скандинавский лоб его набегала тень беспокойства. Какой сюрприз приготовил ему в устье Двины неутомимый и прозорливый московский царь? Шеболанд шел вслепую.

Ни одного торгового судна до сих пор не удалось перехватить в море, чтобы выяснить обстановку в Архангельске. Видимо, все купцы заперты в устье Двины, и московский царь не позволяет им выйти из гавани.

«Что из этого следует? — размышлял Шеболанд, легким ударом ладони собрав зрительную

трубу. — Видимо, то, что Архангельск все-таки знает об опасности. Это усложняет задачу».

Но Шеболанд был прежде всего воякой, боевым адмиралом, он решительно отбросил прочь грустные мысли и, шагая к себе в каюту, внушал собственной персоне, что для победы нужны, по крайней мере, три условия: хороший лоцман из русских, быстрота в действиях, храбрость моряков и солдат.

...Ветер начал «крутить», и на корабле зазвучали команды. Матросы карабкались по вантам наверх. Часто приходилось брасовать реи, чтобы, маневрируя парусами, поймать ветер.

Все было в движении. Летел ветер, надувал паруса, свистя в вантах; бежала за бортом вода, бежали по воде корабли, а в глубине темными молниями сновали в родной стихии рыбы. И в небе неведомо куда летели редкие, причесанные ветром облака.

Костер дымил, и Гришка, то и дело отворачиваясь от него, утирал рукавом куртки слезящиеся глаза. На тагане висел медный котел, а в нем бурлила рыбацкая уха. Гришка отхлебнул из ложки, попробовал рыбу. Готово. Можно теперь уменьшить пламя. Он отгреб в сторону головни, разложил новый костер, оставив под котлом только горячие угли. Принес из зимовки — ветхой промысловой избушки — кусок парусины, деревянные миски, ложки, хлеб и берестяную солоницу. Сложил все это возле костра, зорко, молодыми глазами посмотрел на море. Из-за мыса показался знакомый парус. Рыбаки возвращались на остров. Зук сел на валун и стал ждать.

Много дел у поморского мальчишки-зука,



Гришка помогал рыбакам наживлять мойвой крючки яруса. Когда рыбаки уходили в море, был на стане за хозяина, караульщика, повара, приволил все в порядке, готовил еду.

Парус вскоре вырос из расплывчатого серо-белого пятна в высокое, наполненное ветром полотнище. Вот уже стало видно, как поблескивают на низком солнце мокрые длинные весла. Шняка шла тяжело, и звук определил, что рыбаки возвращаются с богатым уловом. Он встал на валун и, удерживая равновесие, замахал приветно и радостно. Со шняки кто-то ответил ему, подняв над головой шапку. Судно круто повернуло к берегу, к камню, где маячила одинокая тоненькая фигурка зуйка. Сник и исчез с глаз парус — его опустили. Судно причалило к косе: до сухого берега оставалось пять-шесть шагов. Поморы попрыгали в воду, забулькали по ней броднями, дружно взялись за борта, подтащили шняку поближе. Вокруг валуна, как за кнехт, захлестнули канат и устало, валкой походкой пошли к костру. Гришка уже разостлал на траве скатерть-самобранку. Иван Рябов, достав из сумки холщовое полотенце, скинул куртку и пошел к ручью умыться. Тем же занялись и другие. Вернулись к костру посвежевшие, веселые, довольные хорошей путинной. Иван поерошил русский вихор на Гришкиной голове:

— Ну, как дела, хозяинушко? Уха готова? Шибко проголодались мы. А шняка полна рыбы. Отдохнем — и домой!

— Утром? — звук поднял лицо, прокопченное дымом.

— Утром, — ответил Иван. — Поспим и с зарей парус подыдем... А ты бы умылся. Ишь все лицо располосатило, будто трубы чистил.

Гришка рассмеялся, побегал к воде. Рыбаки расположились вокруг брезента, хлебали уху из деревянных мисок, похваливая Гришкино старанье. Рябов чуть подвинулся, освобождая место рядом:

— Бери ложку, Гришуня! Уха у тя добра!

После еды привели в порядок шняку, спрятали рыбу в кладь, развесили для просушки снасти, а когда стало смеркаться, все завалились спать — кто в избушке, а кто возле нее, на воле.

Чайки-разбойницы кружились над стоянкой, над судном. Поживиться им было нечем, и они сердито и визгливо кричали, лохматя крыльями зарю. Черный баклан, с зобом, похожим на пеликаний, ходил поодаль по берегу, кося на зуйка круглым, блестящим глазом.

После визита на Двину Ричарда Ченслера началось торговое судоходство на Белом море и появилась необходимость иметь здесь лоцманов, которые бы указывали иностранным судам фарватер. В 1656 году с ведома Архангельского и Двинского воеводы семеро поморов, хорошо знающих устье, объединились в артель «корабельных вожей» и стали водить суда к пристаням «без государева жалованья и без мирской подмоги». За два рубля вожь-лоцман сопровождал от Мудьюга к городу купеческое судно, а за шесть рублей вел его обратно в Двинскую губу. «Новоторговый устав», принятый во времена Алексея Михайловича, установил пошлины на ввоз товаров, с тем, чтобы торговля была прибыльной для государства.

Корабельным вожем мог стать не всякий поморский рыбак. Надо было обладать отменным знанием своего ремесла, усвоить глубины моря в разных проходах, расположение отмелей, рифов, «банок», засоренных мест, иметь понятие о грунтах, о направлении и переменах течений, времени приливов и отливов. Лоцманы определялись в пути по береговому приметам и створам, знали, где удобно стоять на якоре так, чтобы «якоря и канаты были чистыми» от ила и водорослей.

Это были предприимчивые и мужественные люди. И мужество требовалось немалое: в любую погоду, при любом ветре, иногда и в шторм, днем и ночью по сигналу с иностранного судна лоцман обязан был выходить на карбасе к кораблю и становиться у штурвала.

Ивану Рябову приходилось провожать корабли от Николо-Корельского монастыря в Архангельск и выводить их из запутанного, наштигованного островами, «кошками» и мелями устья Двины не только в Белое море, но и сквозь вечную толчею волн — из горла моря в океан. А уж заливы и протоки Иван знал не хуже любого лодейного кормщика: с детства плавал на промыслах с рыбаками до Мурмана и дальше.

Но сейчас, покидая остров, направляя свое судно к дому, Иван не ведал о том, что его услуги могут нынче же кому-либо понадобиться.

Адмирал Шеболанд в своей каюте долго сидел над развернутой картой, изучая Двинскую губу. Но карта была неточна, не так подробна, как требовалось. На ней не отмечены коварные места, о которых адмирал слышал еще в Стокгольме, а датские лоцманы, нанятые в Гельсингере для сопровождения эскадры, на подходе к российским берегам опустили руки. Благополучно проводив корабли морем, они не могли указывать путь дальше и, считая свой долг выполненным, попиwali в отведенной им каюте ром, не смея больше показываться адмиралу.

Оставалось взять лоцмана на острове Мудьюг, что расположен у входа в Двинское устье, в тридцати трех милях от Архангельска. Шеболанду было известно, что там имелась лоц-вахта. Но какой русский согласится взойти на борт вражеского корабля, чтобы привести его вместе с пушками, солдатами в свой родной порт? Дураку ведомо, что Россия воюет со Швецией, и всякий, завидя в море чужой вымпел, бежит от него, как от чумы.

Шеболанд колебался недолго: в его положении не приходилось особенно считаться с морскими кодексами и уставами. Он приказал вестовому позвать флаг-офицера.

Через минуту в адмиральскую каюту, отделанную полированными дубом, вошел невысокий, с тонким и розовощеким, как у девушки, лицом красавец лейтенант. Он вытянулся, поднес руку к треуголке, отдавая честь.

— Передайте через сигнальщиков приказ: всем кораблям поднять английские и голландские торговые флаги, — и, видя, что распоряжение не совсем понятно лейтенанту, добавил с усмешкой: — По выбору: тот или другой.

Флаг-офицер стукнул каблуками ботфортов, повернулся и вышел, почтительно прикрыв дверь.

Капитан передового фрегата Эрикссон, получив приказ адмирала, поднял на мачте голландский торговый флаг. Он, разумеется, догадался, что

это — маскировка, с целью обмануть бдительность русских. Эскадра приближалась к Двинской губе, возможны встречи с рыбаками, да и жители с островов могут заметить шведский вымпел и поднять тревогу.

На траверзе острова Сосновец, справа по борту, с фрегата заметили небольшой парус. Эрикссон, глянув в зрительную трубу, убедился, что это движется рыбацье суденышко. Выполняя приказ адмирала задерживать рыбацкие лодьи и захватывать их экипажи, Эрикссон повернул фрегат наперерез русским.

Заметив иноземное судно, Иван Рябов встревожился. Он вспомнил разговор с келарем Тихоном перед отплытием в море. Однако, ничем пока не выдавая волнения, он стал пристально следить за кораблем. «Трехмачтовик, — отметил он про себя. — Большое судно. Но чье?» И как он ни всматривался в силуэт корабля, в его обстановку, рельефно рисующуюся на серо-зеленом фоне моря, не мог никак разглядеть флаг.

Было еще далеко.

За этим кораблем появился другой, такой же, а там еще паруса...

Вскоре первый корабль приблизился настолько, что можно было различить цвет флага на грот-мачте. «Голландец!» — отметил Рябов. И товарищи подтвердили его предположение:

— Голландец идет. К нам поворачивает. Видно, что-то ему надобно!..

— Купец?

— Купец, кажись. Кому боле быть? Ноне все купцы в Архангельск путь держат.

Да, флаг голландский. Иван успокоился. Но идти на сближение все же не решался. «Кто знает, что им надо? А вдруг не с добром, а с лихом идут?» Он взял румбом правее.

В несколько минут корабль настиг неповоротливую шняку.

Корабль громадина — что тебе гора! Порты-люки в бортах наглухо задраены. На палубе, у фальшборта, стояли трое. Один призывно размахивал шляпой и что-то кричал. Что — было не разобрать из-за плеска волн. Рыбаки сказали:

— Чего он там орет?

Пойдем, Иван.

Иван колебался. Любопытство в нем боро-

лось с осмотрительностью. А человек все кричал и вот уже можно было разобрать его слова:

— Эй! Сюда, сюда! — за спиной человека на вантах копошились матросы, подрифливая паруса. — Пошалюста, ближе! Есть дело. Мой голландский флаг, мой мирный купец...

Шняка тихо подошла к борту. Рыбаки, задрав головы, рассматривали диковинную громадину о трех мачтах, всю увешанную парусами. Такого большого корабля они еще не видывали. С него спустили шторм-трап. Человек на палубе нахлобучил шляпу и опять закричал:

— Смелее! Кто есть ваш шкипер? Надо держать совет. Наш карта плех... не знай, куда идти...

— Вот чудной! — звонко воскликнул Гришка и рассмеялся. — Плех... плех...

Иван, наконец, решился и дал знак подойти к трапу кормой. Рыбаки поостерегли:

— Гляди в оба, Иван!

Иван опять заколебался, но с корабля так



настойчиво упрасивали, что он взялся за трап и быстро поднялся на борт фрегата. Настороженно осматрелся: несколько матросов, стоявших поодаль, о чем-то беседовали, смеялись. До русских им, казалось, не было дела. Тот, что кричал, пожал Ивану руку и одобрительно похлопал по плечу:

— Молодец, шкипер. Сейчас идем кают. Ром угощать... — и посмотрел за борт. Иван невольно глянул туда же и оторопел: вывернувшись из-за кормы корабля, к шняке подлетела на веслах шлюпка, полная солдат. Они нацеливали на рыбаков мушкеты. И в ту же секунду Ивана схватили за руки невесть откуда взявшиеся усачи в кафтанах и треуголках, и в грудь ему уставилось зловещим зрачком дуло пистолета. Иван глянул на пистолет, на того, кто держал его — на человека, кричавшего с борта: серые глаза холодны, рот сжат в щелку.

— Шведы прокля-я-тые! — отчаянно закричал Иван. — Обманом взяли! Тьфу!

Плевок угодил точно, и Иван тут же покачнулся от крепкого удара в скулу. Человек с пистолетом достал из кармана платок, брезгливо морщась, вытер лицо. Ивана уже обыскивали — обшарили все карманы, вынули из-за пазухи монастырскую грамоту с восковой печатью — разрешение выйти на лов, сорвали с пояса нож, отобрали курево. Рябов попытался снова вырваться, но его стали бить куда попало, и пришлось смириться.

Рыбакам некуда было деваться. Под дулами мушкетов они по одному поднялись на палубу фрегата, где их обыскали, обильно награждая тумачами, и всех заперли в трюм.

...Полузатонувшая шняка пошла болтаться по волнам, а фрегат взял прежний курс и побегал дальше, к острову Мудьюг. За ним, в кильватер — все шесть остальных кораблей.

Пока эскадра шла от Сосновца до Мудьюга, рыбаков монастырской шняки почти всех перетаскали к капитану на допрос. В трюм они возвращались злые, изрядно побитые. На допросах или молчали, или раздражались отменной поморской бранью по адресу шведов, допытывавшихся, как лучше пройти через Двинскую дельту к Архангельску, чтобы миновать опасные мелководья.

Рыбаки ссылались на незнание безопасных путей, хотя некоторые их и знали.

Настал черед Ивана подняться на палубу. В люк трюма сунулась рыжебородая шведская физиономия с бритой верхней губой. Солдат, опираясь на мушкет, обронил сверху в духоту трюма:

— Рябофф! Живо!

Иван нехотя поднялся с мешков с балластом, подошел к трапу и так же нехотя полез на палубу. Швед неторопливо ухватил его за шиворот, поставил на ноги, изрядно тряхнув. Он был высок, силен и голос его гудел, как соборный колокол.

Иван, однако, не спешил. В синем, будто подметенном небе, надутые ветром пузырились паруса. И небо, и белые паруса выглядели нарядно, празднично. Матросы, растопырив руки, что-то делали на вантах: сновали вверх и вниз с кошачьим проворством. Огромный корабль, огромные паруса — все это Иван видел впервые в

жизни и немного оробел. Швед-конвоир ткнул его кулаком в спину, больно попав в лопатку:

— Живо!

«Одно только слово и знаешь, поганый!» — зло подумал Иван, и занес руку, чтобы отвесить солдату оплеуху. Но тот, отпрыгнув, взял мушкет наизготовку, и Иван погасил гнев. Он пошел по чистой, надраенной палубе.

В каюте, за столом сидел узколицый и на вид злой капитан с усиками под длинным острым носом. Усики были малы и смахивали на темные подтеки из носа. На столе развернута карта, в руке капитана исходила тягучим табачным дымом трубка с прямым чубуком. За спиной его стоял лейтенант, исполнявший обязанности переводчика. Но он настолько плохо знал по-русски, что надо было переводить и его самого. Присмотревшись к лейтенанту, Рябов узнал того шведа, который махал с борта шляпой и которому потом, на палубе фрегата, Иван плюнул в лицо.

«Ну, от этих добра не жди!» — подумал Иван.

Лейтенант-переводчик поморщился и отвернулся. Капитан тонким и длинным пальцем помянул Рябова, чтобы он подошел поближе, конвоир еще раз больно ткнул ему в спину, и Рябов вспыллил:

— Чего пихаешься, сволочь?

Шведы заговорили промеж собой: «Сволельшь... сволельшь.» Разобрались, расхохотались и тотчас закрыли рты.

Конвоир опасливо отступил к двери. Капитан, пососав трубку, что-то сказал лейтенанту. Тот, сдерживая неприязнь, подошел к Рябову, похлопал его по плечу, как барышник, выбирая лошадь, хлопает ее по крупу:

— Ты не должен бояться. Мы не сделаем тебе плохо!

Иван стоял как столб, лицо его было неприемлемо. Его подвели к самому столу, и он почувствовал острее запах табака и пудры, которой был обсыпан гладкий, белый капитанский парик.

Капитан указал пальцем на карту, что-то проговорил устало и требовательно. Иван с любопытством посмотрел, куда он показал. Мелко, не по-русски, на карте были обозначены названия островов дельты Двины и ее рукавов и притоков. Рябов не умел читать по-иноземному и поэтому ничего не разобрал. Он знал поморские лоции, где еще предками мореходов были аккуратно перечислены все пункты в Белом море, в устье Северной Двины, в ее дельте. Но с картой ему не приходилось иметь дела. Лоция была в голове, а карта, хоть и на бумаге, для него — лес темный. Капитан опять заговорил, и Иван уловил два слова: Мудьюг, Архангельск.

— Ты должен сказать, — начал своим суконым языком переводчик, — как лучше проходить фрегат от острова Мудьюг до мыс Пурнаволок, то есть до Архангельск.

«Должен! — неприязненно подумал Иван, — с чего бы я тебе должен? Нашел должника!».

— Не знаю. Не пойму! — мотнул он головой.

Швед перевел капитану эти слова. Тот снова стал тихо водить по карте длинным, прямым, как чубук трубки, пальцем, опять стал спрашивать терпеливо и настойчиво. Иван сделал вид, что с интересом изучает обозначения на карте. Капитан оживился, выдвинул ящик стола и выложил кожаный мешочек. В мешочке звякнул металл. Капитан откинулся на спинку стула и пристально глянул в лицо лоцману.

— Ты должен знать путь. Ты — рыбак. Нико-ло-Корельский монастырь имеет сношения с Архангельском. Не уклоняйся от прямого ответа. Ты проведешь нас так, чтобы фрегат не сел на мель, получишь деньги, и мы тебя отпустим.

Примерно так перевел лейтенант смысл слов капитана, и Рябов окончательно понял, что они от него хотят. Но он не стал торопиться с ответом, обдумывая его.

Капитан смотрел на Рябова выжидательно. Но сероглазое лицо с заострившимися скулами и плотно сжатыми бескровными губами было непроницаемо.

«Что думает этот русский? Понимает ли он, что его жизнь в моих руках? И что стоит эта жизнь жалкого невежественного рыбака? Только необходимость вынуждает меня говорить с ним. Он наверняка знает фарватер, он здесь у себя дома. Надо добиться, чтобы он указывал курс».

Капитан пожевал губами, выбил трубку о массивную бронзовую пепельницу, взял мешочек с деньгами, взвесил его на ладони, не сводя с Рябова глаз, а тот подумал: «Много ли тут деньжишек? Какой ценой ладишь купить русского жога? Сколь по-вашему, по-шведскому, это стоит?»

— Как лутше проходить фрегат до мыс Пур-

наволок? — повторил лейтенант прежний вопрос.— Укажешь курс?

— Не знаю, не пойму...

Капитан вскочил, стукнул кулаком по столу: — Лжешь, все понимаешь! — он заругался по-своему, по-шведски, покраснев и напыжившись от злости так, что на щеках появились пунцовые пятна. Русские рыбаки своим упрямством вывели Эрикссона из себя, и он готов был кинуться на Рябова с кулаками.

«Лупить будут, — подумал Рябов.— Надо им что-то ответить».

— Господин капитан, ежели ваша милость хочет, чтобы я вел корабли, то мне надобно все хорошенько обдумать. Я плохо помню лоцию... Покумекать надо...

Лейтенант стал переводить и споткнулся:

— По-ку-ме-катъ: что такое? — спросил он Рябова.

Иван невольно улыбнулся и пояснил, сопровождая слова жестами, что ему надо собраться с мыслями, все хорошенько обдумать.

Капитан, когда ответ был переведен, несколько успокоился. Вспышка гнева миновала, он сел на стул вполоборота к Ивану, побарабанил пальцами по столу и сердито бросил:

— Сколько будет думать русский лоцман?



— Дня три надо, — ответил Иван. — Не шибко просто вести корабли... Так у нас, русских, одним махом не бывает...

Три дня? Он сошел с ума! — Эрикссон обратился уже к лейтенанту. — Жду только до завтра!

Лейтенант перевел. Иван постоял, потупив голову и переминаясь с ноги на ногу, потом глянул хмуро исподлобья и молча кивнул:

— Твоя воля, капитан. Согласен дать завтра ответ.

Рыбаки ждали Ивана. Как только он спустился по трапу и пошел на свое место к мешкам с балластом, они сгрудились вокруг него:

— Ну как, Иванко? Чего пытали?

— Требовали указать строж, — ответил Иван, половчее уstraиваясь на жестких мешках. Фрегат ткнулся носом в волну, рыбаков качнуло, и они повалились на настил днища. Под настилом плескалась вода, трюмная, затхлая. Звук Гришка пополз к Ивану, сунулся ему в колени. Рябов нащупал его голову, погладил, привлек паренька к груди.

— А ты што им сказал? — жарко спросил звук.

— Ничего... Капитан дал время подумать до завтра, — обращаясь к товарищам, спокойно ответил Рябов. — А что думать? Что им сказать? Не ведаю...

Рыбаки молчали. Иван скорее чувствовал, чем слышал за плеском воды и шумом волн за бортом напряженное дыхание товарищей, лежавших и сидевших рядом.

Кто-то сплюнул и глухо выругался, кто-то поплотнее запахнул полы кафтана: в трюме промозгло, зябко. Наконец, молчание нарушил Мишка Жигалов — молодой, горячий парень, однодеревенец Ивана, ходивший на промысел тяглем¹:

— А што им скажешь! Ответ один: не поведу корабли, и все тут. Хоть золотом осыпь! Я так и сказал им, нехристам.

Иван молчал. Матвей Рыжов, весельщик, с тревогой раздумывал вслух:

— Што с нами будет-то? Утопят? Убьют? А может, высадят где-нибудь на голом месте? Неужто рука у них подымется на убийство? Не-

ужто такой тяжкий грех возьмут на душу? Спаси и помилуй, царица небесная!

Рыжов торопливо перекрестился, вздохнул: в груди захрипело — зашелся кашлем. Схватил он злую простуду прошлой осенью на путине, свалившись в шторм за борт. Еле спасли. С тех пор и кашляет.

— Не гоже скулить, Матвей, — оборвал его Иван. — Нытьем делу не поможешь. Только душу разбередишь...

Опять смолкли. Матвей заворочался на жестком ложе, затих. Мишка Жигалов ронял в полумрак трюма тяжелые, как камни, слова:

— Пока, видно, мы тут, в утробе ихнего судна вместо груза, чтобы корабль меньше качало... А идут они, слыш-ко, Иван, со злым умыслом! Оружных людей полно. Есть, верно, немало и пушчонок. Идут, мыслю я, воевать Архангельск!

— Вот подлые! Неужели и вправду? — подал голос наживочник Степан Лиходеев.

— Ведомо всем: война со шведом идет. С миром сюда не сунутся, — угрюмо отозвался Рябов. — Эх, как же я дал маху, поверил голландскому флагу!

— Мало нас, да и оружия нет. А то бы захватить корабль, — сказал Жигалов.

— То-то и есть, что мало... — Иван погладил Гришкину голову. Звук нащупал руку Ивана, сжал своей холодной, вздрагивающей. А их, поди, тут во всех щелях напихано. Сотни три, верно, есть, а то и больше... Нас пятеро — сила не велика.

— Какой завтра ответ будешь давать, Иван? — спросил Мишка.

— Не знаю... Ох, ничего не знаю, братцы, — растерянно произнес Иван. — Не поведешь корабль — всех нас покидают за борт, да еще и пуль не пожалеют. Поведешь — опять же грех на душу возьмешь. Нельзя. Выбор не велик...

— Пуцай лучше за борт, чем измена, — твердо сказал Мишка. И, помолчав, добавил: — А жить-то хочешь...

— Да, хочется, — подтвердил Иван.

За бортом все шумела вода. Поскрипывали шпангоуты. Из конца в конец перекачывалась, плескалась под настилом трюмная вода. Рыбаки молчали в тяжком раздумье.

Иван лег навзничь, смежил веки, забылся в дремоте. Гришка прилег рядом, под теплый бок кормщика.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пустынен и неприветлив в эти дни остров Мудьюг. На всем — на берегу, обрызганном прибоем и засоренном водорослями и плавником, на серой стене мелкокося, что начинается сразу за постройками, — лежала печать заброшенности и тревоги.

На дверях лоц-вахты, просторной, накрепко срубленной из объемистого сосняка избы, крестнакрест приколочены две тесины. Не рвется из трубы веселый, резвый дымок, не пахнет печеным-жареным стряпухи Дарьи, не слышно рас-

катистого мужского смеха и песен, которые пели в час досуга лоцманы, несущие очередную вахту.

Уехали лоцманы по приказу воеводы ближе к городу, на Марков остров.

А бывало, коротая время до прихода судов, любили корабельные вожи рассказывать бывальщины, перекинуться поморскими солеными прибаутками да побасенками. Кому довелось хаживать в дальние плавания в море Студеном, тот целыми вечерами плел дивную сеть воспоминаний, и под низким потолком лоцманской избы, казалось, шумело неприятное море, свистел в леерах и вантах штормовой ветрище, выкрикивали охрипшими голосами кормщики свои команды

и жалобно кричали кайры, застигнутые врасплох ураганом. Все звуки моря заполняли углы избы, и лоцманы, притихнув, ловили каждое слово бывшего товарища.

Вспоминали кормщика Родиона Иванова, который лет десять тому назад снарядив лодью, задумал попытаться счастья в рискованном походе в Ледовитый океан, добраться до Груманта, и, если будет сопутствовать удача, пройти дальше, меж льдов, посмотреть неведомые места, где рождаются холодные ветры и полярные сияния, разведать новые лежбища тюленей и моржей да богатые рыбные пастбища в глубинах морских. Но налетела буря у острова Шарапова Кошка, разбило вдребезги лодью о скалы, и пятнадцать поморов, спасшись чудом, зазимовали в построенной из плавника и глины избушке. Долгие зимние месяцы полярной ночи боролись с цингой, мучились бессонницей и бредовыми видениями, и к весне уцелели из пятнадцати смельчаков лишь четверо...

Наскучат разговоры — выходили лоцманы на берег, смотрели на море, примечали по погоде — быть завтра сверку, шалонику или межнику¹.

Иногда вахтенный на вышке, приметив на горизонте паруса, спускался вниз, бежал к лоц-командиру:

— С моря судно идет. Купец. Двухмачтовик.

— Чей флаг? — спрашивал лоц-командир.

— Аглицкий...

Судно приближалось к острову, поднимало на мачте лоцманский флаг-сигнал. Вож садился в карбас, и тот шлепал по волнам тупым носом, отправлялся к борту иноземца...

Сейчас на острове осталась только караульная солдатская команда под началом молодого поручика Крылова. Коротая время, поручик вышел на берег из тесной и душевной избы, где солдаты вповалку валялись на нарах с сеном.

Ветер переменял направление, тянул с норда. На вышке зяб на ветру солдат, прижав ружьишко сбоку и сунув руки в рукава кафтана. Хвостик-косица болтался за спиной, как былинка. Крылов поежился от свежака, поглядел на волны в белых барашках, вспомнил поговорку приятелей лоцманов, с которыми сдружился за последнее время:

Закипела в море пена —

Будет ветру перемена.

«Хмурая погода, суровые, неуютные места! — думал поручик, кутаясь в плащ. — Суровы места эти, а богаты. Рыбой богаты, лесом, морским зверем. Только руки надо, только сила надобна, чтобы добывать те богатства неисчислимые...»

Тревога поселилась в сердце молодого офицера с тех пор, как пришел на остров воеводский приказ: «Быть в бдении, лоцманов отправить в город, ждать свейские воинские корабли. Строго-настрога проверять каждого купца, приходящего к Мудьюгу. Буде те купцы идут с миром да товарами, только тогда высылать им лоцмана».

«А ежели они придут, шведы, что делать? — думал поручик. — Как с шестнадцатью солдатами оборонить остров? Костями лечь? Много ли в том резона?»

Но служба есть служба. Давал присягу императору Петру Алексеевичу. В любом случае

¹ Направления ветров. Сиверко — северный ветер, шалоник — юго-западный, межник — промежуточный.

надобно проявить выдержку, находчивость да воинские знания. Поручик повернул было к караульной избе, но с вышки ветер донес голос. Солдат призывно махал рукой. Крылов повернул обратно, поднялся по узенькой крутой лестнице, спросил:

— Что там?

Солдат показал рукой перед собой, и поручик увидел среди лохматых волн паруса. Взял у солдата зрительную трубу, долго смотрел на подходившие к острову корабли. Насчитал три впереди и четыре позади. Подождал, снова поднес окуляр к глазу и разглядел на мачтах флаги: два голландских, один английский. Видно, торговые корабли. Надо проверить.

Сойдя с вышки, Крылов направился к избе, открыл дверь, крикнул в полумрак:

— В ружье! Взять барабан и знамя! Выходи!

Вскоре от берега отвалил карбас с пятнадцатью солдатами. Восемь сидели в веслах. В носу — барабанщик и знаменщик, в корме, рядом с Крыловым, — переводчик Борисов, высокий кареглазый мужчина средних лет. Не садясь на банку, кутаясь в плащ, Крылов смотрел на приближающийся передовой корабль. На палубе его стоял человек и приветливо махал шляпой. Крылов в ответ поднял руку. Плеснула волна и окатила гребцов. Поручик, потеряв равновесие, сел.



Карбас подвалил к борту иноземца. Поручик взялся за штормтрап и стал подниматься на борт. За ним — барабанщик, знаменщик, Борисов и солдаты. В карбасе остались двое.

Резко и дробно загрохотал военный барабан, знаменщик развернул петровский штандарт. Крылов поднес руку к треуголке и, когда барабанная дробь оборвалась, спросил строго:

— Где капитан? Почему не встречает русский караул?

Борисов перевел. Поручик зорким и беглым взглядом окинул палубу. На ней только вахтенные. Ни одного человека с оружием. А вот и капитан. Он шел неторопливо, высоко подняв острый подбородок. Остановился в нескольких шагах от русских солдат, выстроившихся вдоль фальшборта. Поручик сделал шаг вперед:

— Прошу предъявить документы, как должно, опиши грузы и список команды!

Борисов начал переводить это приказание, но тут совсем неожиданно из-за надстроек, снизу, грохоча каблучками по трапу, хлынули вооруженные солдаты. Крылов успел скомандовать:

— Ружья наизготовку! Пли!

Треснул залп. Мушкеты полыхнули огнем. Один из шведов схватился за грудь и упал, другой с перебитым плечом отбежал в сторону, уронив мушкет. Крылов изо всех сил отбивался, тыча перед собой шпагой, пинал неприятельских солдат. Его ударили по затылку и, обмякшего, потерявшего сознание, поволокли. Русские солдаты не успели перезарядить мушкеты. Всех их мгновенно схватили, обезоружили.

Гребцов в баркасе расстреляли с борта. С фрегата спустили шлюпки. Иноземцы отправились обследовать остров. Там никого не оказалось, кроме дозорного. Его связали и бросили в пустой караульной избе.

Когда на острове Линской Прилук прогремел трехкратный салют пушечных батарей в ознаменование закладки новой крепости — форпоста Архангельской торговой гавани, архиепископ Холмогорский и Важеский Афанасий собственноручно положил в фундамент первый камень. Памятуя о царском указе «крепость строить наскоро и напрочно», он сам помог Рензу выбрать место на берегу для будущих бастионов и отпустил из своих запасов пятьдесят тысяч штук крепких, добротного обжига кирпичей.

Остров Прилук за короткое время преобразился. Пустынный ранее, с несколькими избушками, теперь он наводнен людьми. Строители жили в приземистых тесовых бараках, в землянках, крытых дерниной. В бараках было холодно — во все щели дул ветер, в землянках — сыро и сумрачно. И кормили рабочих людей совсем не «от пауза». Семиградская изба в Архангельске, ведавшая строительными делами, скупилась на лесоматериал для жилья и харч для людей. Как водилось, чиновники и подрядчики урезывали суммы, отпущенные на строительство, мошенничали.

Стольник Селиверст Иевлев — невысокий, толный мужчина, энергичный, и, несмотря на жирок, подвижной, день-деньской бегал по острову на коротких крепких ногах, до хрипоты кричал

на людишек, обвиняя их в лениности и нерадений, звенел связками ключей у амбаров с материалами и продовольствием, не доверяя свои склады никому из опасения воровства.

Начальник островного гарнизона полковник Ружинский да солдатский голова Животовский ежедневно торчали на пустыре, проводя ратные учения. Унтеры хриплыми, простуженными, а то и пропитыми голосами отдавали команды, отработывая ружейные приемы. Иногда солдаты, вызывая любопытство и насмешки островитян, бежали к берегу цепями, хлюпая по болотистой земле башмаками; вскинув ружья наперевес, «атаковали» предполагаемого неприятеля, поднимали стрельбу холостыми зарядами.

Не обходилось при этом и без происшествий. Однажды долговязый солдат, споткнувшись о кочку, холостым выстрелом опалил впереди бегущему уху, за что был посажен на трое суток на гауптвахту.

А «воинство» Иевлева — лапотное, сермяжное, отведав постных щей да ячменной каши, ворочало булыжники, тесало гранит и известняк, катило тачки с кирпичом и раствором и наращивало над фундаментом ряд за рядом будущую цитадель со стенами саженной толщины.

Новодвинская крепость должна была стать первоклассным для того времени военным сооружением, с массивными бастионами, рассчитанными на установку ста восьмидесяти орудий, с каменным рavelином, окруженным рвом.

Ранним дождливым утром в избушку стольника, жившего по-холостяцки, по-походному, два солдата из береговой охраны ввели изможденного, вконец отошедшего человека. На худых плечах мешковато висели остатки солдатского кафтана. Из дряблых, разбитых в прах башмаков торчали пальцы. На бледном лице тревожно горели лихорадочным блеском ввалившиеся глаза. Щетина покрывала щеки.

Из кармана у солдата торчал измятый, мокрый парик — казенное имущество.

— Отколь взялся такой филин? — спросил стольник. Он еще не успел позавтракать и обежать свои владения.

Незнакомец встрепенулся, вытянул руки, став во фронт и обнаружив солдатскую выправку, и доложил еле слышно, надтреснутым сиплым голосом:

— Воинской команды поручика Крылова рядовой Кузьма Стрюков! С острова Мудьюга...

Солдат пошатнулся, готовый упасть в обморок от истощения и усталости. Иевлев усадил его на лавку, велел принести водки. Стрюков выпил из оловянного стаканчика, немного взбодрился и рассказал, как к острову подошли шведы, схватили его, Стрюкова, связали и оставили в пустой караульной избе. Целый день бился солдат на полу, с трудом освобождаясь от пут, а после, под покровом ночи, на утлой лодчонке добрался до морской деревушки и с помощью рыбаков приплыл сюда.

Так пришло на Прилук известие о подходе шведской эскадры. Воинские начальники собрались на совет. Усилили караулы, проверили пушки на батареях и стали готовиться к обороне, не прекращая, однако, строительных работ и никому не говоря о подходе врагов, чтобы избежать паники.

Иевлев отправил гонца к воеводе. Но Прозоровский на парусной коче в сопровождении нескольких карбасов вскоре сам заявился на

остров, разминувшись в пути с иевлевским посылным.

В полдень, когда в разрыве туч выглянуло солнце, коча причалила к острову, и Прозоровский сошел на причал. Первым делом он поспешил на стройку. Там плотники наращивали леса, по сходням потные, усталые рабочие люди тащили на стену тачки и корыта с раствором. Согнувшись под тяжестью груза, шли подносчики кирпича и камня.

Инженер Резен в коротком кафтане, при парике и треуголке, с кожаным футляром для чертежей под мышкой и с отвесом в руке, повстречался воеводе на северо-восточном углу, где каменщики выводили круглую башню. Почтительно наклонив голову, Резен доложил:

— Все работы идут своим ходом, точно по чертежам, князь! Елико возможно — поспешаем. От темна и до темна каменщики кладут кирпич на раствор.

Он повел Прозоровского показать постройку. Воевода остался доволен, но счел своим долгом все же заметить:

— Люди чтой-то едва ворочаются! Плохо кормите, что ли? Живее надобно, господин инженер!

— Да, да, — закивал Резен. — Я понимаю — надо живей. — Он обернулся к каменщикам. — Надо живо работать, черт побери! Господин воевода недоволен вашими поворотами!

Каменщики угрюмо молчат. Только один, молодой парень в полотняной рубаше с закатанными рукавами, блеснул белками глаз из-под свисшего на лоб русого спутанного чуба:

— Харч плохой! По еде и работа! Распорядись, барин, чтобы лучше кормили трудников!

Воевода нахмурился, строго взглянул на Резена и молча сошел вниз. Он направился к воинской избе, куда по его приказанию собрались Иевлев, Животовский и Ружинский. Скинув кафтан и опустив свое тучное тело на широкую лавку, воевода потребовал квасу. Ему принесли. В низеньком оконце проблеснул солнечный луч, заиграл в медном луженом ковше, наполненном зеленоватой пенистой влагой. Выпив квасу, Прозоровский сообщил:

— Шведы идут! Новость для нас зело тревожная!

— Нам то ведомо, князь, — скороговоркой отозвался Иевлев и суетливо положил треуголку на свои по-бабьи округлые колени. Поправил букли парика. — Солдат, что прибыл с Мудьюга, докладывал. Караульная команда пропала с острова. Видно, полонили ее шведы поганые...

— А еще что сказывал тот солдат?

— Сказывал, что карбас с командой вышел к кораблю под голландским флагом и пропал. А его, Стрюкова, связали и бросили в пустой избе.

Воевода нахмурился, глянул на стольника косо, неодобрительно. Большой угреватый нос его засопел сосредоточенно и важно.

— Все ли у вас сготовлено к обороне?

Полковник Семен Ружинский неторопливо и обстоятельно рассказал, что солдаты к бою обучены, порохового зелья достаточно и запас продовольствия имеется. Пушки с ядрами стоят на листах, под прицелом держат все подходы к острову и Березовский стриж. Команды бомбардиров денно и ночью дежурят при мортирах и единорогах.

— Так-так, — одобрительно обронил воево-

да. — То ладно, что все готово. Глядите в оба! Стольник, — обратился он к Иевлеву, — отбери мне, не мешкая, четыре сотни работных людей. Пойдут со мной в Мурманское устье — укрепления делать: вдруг шведы туда сунутся, а там голое место, как твоя плешь под париком. Сейчас же и отправлюсь. Да провианту отпусти дни на четыре!

Иевлев пропустил мимо ушей воеводскую колкость насчет плещи, и послушно встав, надел треуголку на парик:

— Все будет исполнено, князь.

Он удалился. Воевода велел собираться в путь и полковнику Ружинскому, отдав солдатскому голове Животовскому строгий наказ оборонять остров до последнего и не пускать шведов к мысу Пурнаволоку, где стоял Архангельский город.

Рябов проснулся от глухого стука: наверху захлопнули люк. Открыл глаза: в трюме кромешная тьма. На палубе загремели выстрелы...

Рыбаки, очнувшись от сна, всполошились, натываясь в темноте друг на друга, спрашивали:

— Чего там такое творится?

— Может, наши подошли?

— Вызволят нас?

Мишка Жигалов ощупью подобрался к трапу, влез на него, застучал обрезком подвернувшейся под руку доски в крышку люка:

— Эй! Отвори!

Люк не открывали. Наверху топот ног и беготня прекратились и стало тихо.

Зуек Гришка прижался к плечу Ивана, Рябов почувствовал, как паренек дрожит — то ли от страха, то ли от холода, привлек зуйка, погладил голову:

— Успокойся, Гришуня. Авось, все обойдется.

— Кабы обошлось, дядя Иванко! А я дак ни чуточки не боюсь!

— А чего дрожишь?

— Да студено тут...

— Все обойдется, бог даст.

Иван потерял представление времени. Сколько он спал? Что сейчас на воле — вечер, ночь? А может, утро? Если утро — скоро придут. Надо будет давать ответ.

А может, фрегат в руках русских? Да нет, вряд ли. Но он стоит на якоре! Да, фрегат не движется. Иван почувствовал это: судно мерно покачивалось, в борта плескались волны, но не так, как на ходу. Где бросили якорь? Неизвестно. Полная неизвестность. Мрак, предчувствие недоброго. Рыбаки молчали. Кто-то, забывшись в тяжелом полусне, бессвязно бормотал:

— Вона, кубас-то! Не видишь разве? Греб! Да гребите шибче! Эх!..

Что грезится рыбаку? Буй в море от раскинутого яруса — кубас? Верно, собрался уж выбирать снасть... Уловом грезит! Эх, доля рыбацкая! Иван сел, сжал виски ладонями: голова, казалось, раскалывалась от дум.

«Что ответить шведам? Согласиться вести корабли? Или сказать им: «Нет!»? Зачем принес их дьявол сюда? Зарятся на наше богатство? Своего добра им мало! Пришли из-за двух морей в чужих сундуках рыться!..

Иван знал, к чему приведет отказ: шведы сразу же расправятся с рыбаками. Какой резон

им возить в трюме людей, от которых пользы мало? Покидают за борт. Утопят всех. Дома подумают: пропали рыбаки. Ушли в море и не вернулись. Штормяга накрыл, шняку перевернул... Мало ли как бывает...

Нет, не может он ответить отказом: жизнь товарищей на его совести.

Иван ударил о колено крепко сжатым кулаком, скрипнул зубами от сознания своего бессилия. Вспомнилась Марфа. Верно, каждый вечер ходит на берег, глядит на пустынный горизонт... Не видать Иванова паруса!.. Нигде не видать... Причитает Марфа, сев на береговой камень-голыш:

Да каково тебе, рыба, без воды, таково же
красной жёнке без дружка,
Да без мила дружка Иванушка...

Сунулся Иван в карман за трубкой — курить захотелось. В кармане пусто. «Отняли, проклятые, табак да огниво... И есть хочется — хоть палец соси. Дали по сухарю да по кружке воды, и все».

Молчат товарищи, верно, спят. Думает Иван свои невеселые думы.

«А если стать к рулю? Станешь — веди корабль верным курсом. За промашку тоже ждет смерть. Он проведет, тут сомнений быть не может, да только совесть не велит сделать это. Ну-ка, шутка сказать: привел русский корабельный вож Рябов шведа-ворога по самые стены Архангельска».

Воображение живо нарисовало ему картину: шведы, став у крепостных стен, ошалело палят из всех пушек, рушат стены, горит город, приступом идут враги, с бою берут Архангельск... Гибнут люди — старики, женщины, детишки малые... Царь Петр бросает все дела, собрав войско, спешит на выручку. А все виноват он, Иван. Он привел врага в сердце Поморья...

Иван покачал головой, зябко повел плечами: «Нет, не бывает этому! Никогда не бывает!»
Что же тогда? Что?..

Знает ли государь, что шведы идут к Архангельску? Знает! Он все знает. Уж, поди, прислал своих гонцов да войско солдатское, Преображенское, верное войско! И он, Иван, должен, живота не жалючи, помочь царю отразить врага. Но как?

Не может быть, чтобы не было выхода. Иван мотает в темноте головой, горечь дум сжимает виски болью. Не может быть...

И вдруг внезапно озаряет его догадка: между Мудьюгом и Архангельском есть Линской Прилук! На нем строят крепость... там солдаты, пушки... много пушек! Иван повеселел, в голове созрело неожиданное простое решение: довести шведов до Маркова острова, а там... Это же выход! Как он раньше об этом не подумал!

Остается все взвесить, все выверить в памяти и действовать. Ну что же, вот и готов Иван дать ответ шведскому капитану. «Только не спеши, все обмозгуй хорошенько! — приказывает Иван сам себе. — Бог не выдаст — швед не сожрет!»

На стоянке у острова Мудьюг капитан Эрикссон приказал привести к нему того высокого и кареглазого русского, который состоял переводчиком при поручике. Поручик не знает ни сло-

ва ни по-шведски, ни по-английски, как выяснилось на допросе, не имеет ни малейшего понятия о навигационном деле. А переводчик мог сослужить службу, тем более, что швед-лейтенант очень слабо знал по-русски.

Допрашивали Борисова уже вечером, при свечах. Держался переводчик с достоинством, не склоняя темноволосой головы перед иностранцами, поглядывал на капитана с презрением. Эрикссон решил поиграть в великодушие. Велел Борисову сесть, подвинул коробку с табаком, трубку. Борисов вежливо, но решительно отстранил от себя табачное зелье.

— Надеюсь, мы найдем с вами общий язык, — с вымученной улыбкой сказал капитан.

— На каком языке вы собираетесь говорить со мной? — спросил Борисов по-английски.

— Вы хорошо говорите по-английски. А шведский язык вам ведом?

— У нас может быть только один язык, господин капитан, — подчеркнуто вежливо и твердо произнес Борисов.

— Какой же?

— Язык врагов! Я — ваш враг, вы — мой враг.

Капитан зло сжал сухие узкие губы. Глаза блеснули недобро:

— Зачем же так? В вашем положении я бы вел себя иначе.

— Вы — может быть. Но от меня такого не ждите.

Капитан побурел, отшвырнул от себя лист бумаги, лежавший на столе, и рявкнул:

— Встать!

Борисов нехотя поднялся. Солдаты, находившиеся за его спиной, грубо оттащили его от стола. Лейтенант до этого молча, как тень, стоявший за спиной капитана, подошел к Борисову и с блудливой гаденькой улыбочкой, заглянув ему в лицо, резко ударил снизу в челюсть. Борисов покачнулся, но устоял, вытер рукавом закровившиеся губы, выплюнул на ладонь выбитый зуб, вытер руку о полу кафтана.

— Вот это и есть язык врагов. Вы пожелали объясняться на нем, и мы исполнили ваше желание, — произнес Эрикссон.

Борисов молчал. Кровь струилась по подбородку, по шее.

— Вы хотите жить?

Переводчик смотрел на пламя свечей в трехрожковом подсвечнике.

— Если вы хотите жить, от вас требуется одно: указать на карте фарватер, по которому можно было бы пройти к Архангельску.

— Я не лоцман, я всего лишь переводчик, — сказал Борисов.

— Ну, хорошо. Вы будете у нас переводчиком. Иначе отправим вас за борт. Вам ясно?

Борисов молчал. Ненависть душила его.

Эрикссон дал знак увести пленника. Борисова впахнули в трюм, где находились рыбаки. Едва переводчик спустился по трапу, сверху позвали:

— Рябофф! Сюда!

Направляясь к трапу, Иван поймал Борисова за рукав и шепотом спросил:

— Кто таков?

— Переводчик с Мудьюга Борисов.

— А мы рыбаки Николо-Корельского. У Соновца нас захватили обманом... Тебя допросили?

— Да.

— Где стоим?

— У Мудьюга.

Сверху кричали нетерпеливо:

— Рябофф! Где Рябофф?

— Ну, прощевай, держись! — сказал Рябов и полез наверх.

Белая ночь расплстала над морем, над кораблем свои задумчивые полупрозрачные крылья. В тумане, как призрак, расхаживал вдоль фальшборта часовой с мушкетом на плече. Солдат, сопровождавший Рябова, указал ему в сторону, противоположную капитанской каюте. Рябов пошел туда. Увидел за кормой суда, стоявшие в одну линию, без сигнальных фонарей. Паруса были подобраны, на мачтах в бочках можно было различить плечи и головы дозорных. Солдат подвел его к узенькой двери, отомкнул ее и впустил Ивана. Потом закрыл дверь на ключ.

Тьма. Окошко чем-то закрыто наглухо. Иван нащупал справа что-то мягкое. Тюфяк... видимо, койка. Он лег на нее, расправил затекшие ноги...

До утра не сомкнул глаз, все думал, вспоминал до мельчайших подробностей Березовское устье, высчитывал время отлива. Но пустят ли шведы к штурвалу?..

Утром брякнул ключ в замочной скважине, дверь распахнулась, и солдат подал завтрак: оловянную кружку с кофе, кусок хлеба, вареную солонину. Иван жадно принялся за еду: больше суток жил впроголодь. Часовой, оставив дверь открытой, следил за каждым его движением, будто считал куски. Поев, Иван показал жестами,

что вот теперь не мешало бы и покурить. Часовой отрицательно помотал ушастью головой и, видя, что русский кончил есть, захлопнул дверь, забрав судки.

Вскоре к каюте подошли несколько шведов, среди них капитан и под конвоем — Борисов. Рябов узнал его по одежде. Переводчик был хмур, подбородок его распух, под глазами синие кровоподтеки. Капитан спросил что-то, обращаясь к Рябову. Борисов, внимательно глядя на лоцмана, перевел:

— Капитан пришел за ответом.

Рябов поднялся с койки и сказал:

— Коли надо, поведу корабль.

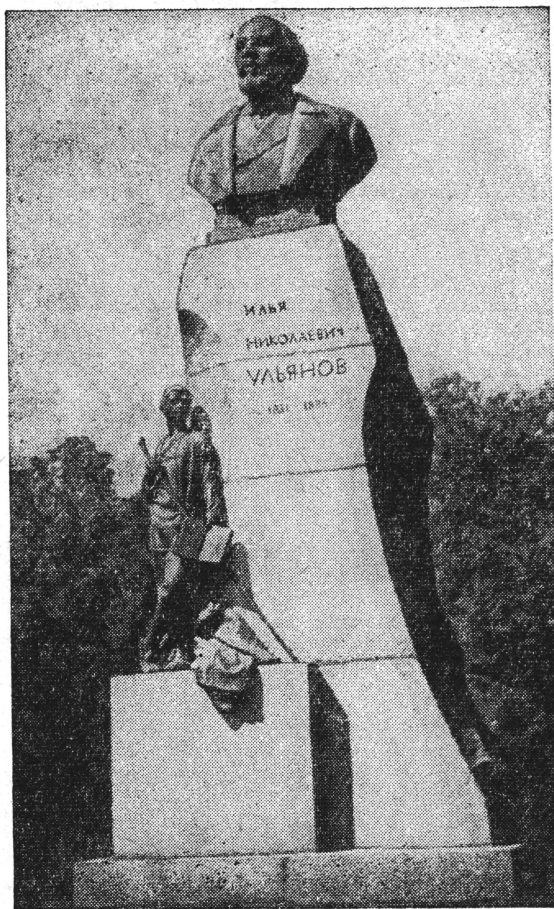
Борисов вздрогнул, впился взглядом в кормщика, говоря всем своим видом: «Ты что, спятил? Шведский корабль вести? Разве не знаешь, зачем они тут?».

Рябов тоже взглядом ответил: «Все знаю. Так надо». Борисов в растерянности пожал плечами. Пока Борисов собирался с мыслями, шведский лейтенант перевел. Капитан, пристально следивший за русскими, ткнул русского переводчика в спину: «Рыбак поступает правильно!» — скрипуче сказал он.

Борисов, кажется, понял Рябова и опустил взгляд.

Рябова и переводчика под усиленной охраной повезли в шлюпке на адмиральский фрегат. Шеболанд пожелал посмотреть на русского, который согласился сопровождать шведские корабли.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



ПО МАРШРУТАМ УЛЬЯНОВА

 **НА
ПРИЗ
НАШЕГО
ЖУРНАЛА**

У входа в небольшой парк Ульяновска стоит памятник отцу Владимира Ильича Ленина. В глубине парка могила Ильи Николаевича. А справа, за зеленью деревьев, — корпус новой школы № 6. Ребята этой школы борются за право называть ее именем Ильи Николаевича Ульянова.

Сбор материала о семье Ульяновых следопыты начали со знакомства с книгами об Илье Николаевиче. И тут выяснилось, что из четырех с половиной сотен школ, открытых при непосредственном участии отца Владимира Ильича, описано всего несколько десятков. Ребята решили рассказать и о других. Проследить историю этих учебных заведений, довести ее до сегодняшнего дня. И попытаться разыскать выпускников, узнать, кем они стали.

Илья Николаевич периодически объезжал своих подопечных. Следопыты стали прежде всего уточнять пути И. Н. Ульянова по губернии. Основных маршрутов оказалось три: летний, осенний и зимний. Они вышли за пределы нынешней Ульяновской области, пролегали в Чувашию, Мордовию (Симбирская губерния была больше по размерам, чем Ульяновская область).

Когда Илья Николаевич возвращался из поездок, он писал подробные отчеты о проверке народных училищ. Эти отчеты печатались в специальных сборниках, и ребята решили найти их и прочитать. Прежде всего они отправились в областную библиотеку Ульяновска, где находится немало книг бывшей губернской библиотеки, членом совета которой был И. Н. Ульянов. Он вносил деньги на ее содержание. В фондах библиотеки хранятся книги, подаренные поэтом Н. М. Языковым, сыновьями историка Н. М. Карамзина, замечательным русским писателем И. А. Гончаровым.

Здесь следопыты обнаружили малоизвестные отчеты Ильи Николаевича за 1871 год. О чем в них рассказывалось? Вот две выписки: «Промзинское мужское приходское училище открыто в 1857 году, содержится на средства землевладельца г. Потемкина, в количестве 400 рублей. Сумма эта распределяется следующим образом: на жалованье законоучителю 72 рубля, учителю — 240 рублей, остальные 88 рублей идут на содер-

жание дома и на прислугу. Помещается училище в каменном двухэтажном доме, принадлежащем землевладельцу: в нижнем этаже живет учитель, а в верхнем — класс. Классная комната тепла, светла, имеет форточки для вентиляции и содержится весьма опрятно. Ученические столы со скамейками сделаны по росту учеников, что весьма удобно и составляет особенность училища.

Число учащихся мальчиков (от 5 до 14 лет) — 90, в том числе в I (младшем) отделении — 30, во II (среднем) — 45 и в III (старшем) — 15. Число жителей села Промзина около 2500 душ мужского пола, число учащихся относительно числа жителей составляет 3,5 процента».

«При моем посещении училища (10 декабря) в классе было 78 мальчиков. Младшие в 32 урока изучили звуки и читают, хотя медленно, но порядочно, а средние и старшие — хорошо, считают в уме порядочно, пишут старшие и средние хорошо. Во время испытания первых 2-х отделений ученики старшего отделения изложили на аспидных досках своими словами статью «Роса и иней» — хорошо.

Заметив, что в училище ощущается недостаток книг «Родного слова», я назначил на учебные пособия небольшую сумму из средств Министерства народного просвещения, ассигнованных на этот предмет».

Побывав в этом же училище 15 ноября 1872 года, Илья Николаевич отмечает, что старшие ученики хорошо изложили содержание статьи о Ломоносове, «дети средней группы составляют даже сами задачи... Старшие ученики переводят со славянского на русский язык целые предложения, а средние делают дословный перевод».

Таких отчетов за шестнадцать лет деятельности отца В. И. Ленина в Симбирской губернии накопилось немало. Сейчас у следопытов школы № 6 несколько папок с выписками. Началась переписка со школами, где бывал Илья Николаевич, создается их история.

В 1869 году, когда семья Ульяновых прибыла в Симбирск и Илья Николаевич был назначен инспектором народных училищ, положение со школами было далеко неблагоприятным. Он отмечал, что в течение 1870 года закрыли тринадцать мужских, одно женское и семь училищ для обоюбого пола. Из них восемнадцать — из-за «малочисленности» учащихся и «неимения» учителей, одна частная школа в Симбирске по собственному желанию содержателя, два частных училища в Карсунском уезде «за смертью учителей».

В другом отчете И. Н. Ульянов писал, что из сорока одной женской сельской школы только три имеют собственные здания, остальные ютятся в церковных сторожках или в домах учительниц. А из двухсот восьмидесяти сельских мужских училищ сто двадцать одно требовало ремонта, сто пятнадцать помещались в церковных караулах.

Илья Николаевич отмечал в отчетах хороших учителей, называл их имена. Так, в Симбирске это был Иван Николаев, в Курмыше — Софья Петрова и Агриппина Зеленцова. В этом же 1870 году он добился открытия семнадцати мужских народных училищ, из них пятнадцать начали работу в уездах и два частных — в Симбирске.

Работу с документами, подшивками газет, старыми книгами следопыты ведут зимой. А летом они выходят в походы. Шестиклассники побывали на территории бывших Вешкаймской и Каргинской волостей. Вот что они записали в дневнике: «До революции в Вешкаймской и Каргинской волостях было только по одной начальной школе. Мебель в огромном большинстве старая, парты одинаковые и для маленьких и для взрослых учеников, а иногда это простые обеденные столы и узкие, неустойчивые скамьи. Учебные занятия заканчивались в марте, перед началом полевых работ. Это и понятно, так как в хозяйстве нужны были рабочие руки.

Школы размещались в темных, тесных, угарных, грязных постройках: в Коченяевке вместе с хлевом для скота, в Безеровке для занятий переоборудовали мертвецкую. В 1871 году в Карсунском уезде из 75 841 человека обучалось в школах только 470 мальчиков и девочек. Образование выше начального имели попы. Многие мужчины из-за неграмотности ставили вместо подписи крестики. Учащихся воспитывали в верности царю и религии. Из учителей только 30 процентов имели образование в объеме учительской семинарии. Остальные были людьми малограмотными».

Немало сделал для просвещения этого уезда уроженец села Ховрино, выпускник Московского университета инспектор народных училищ Александр Иванович Червяковский. Он был последователем дела Ильи Ни-

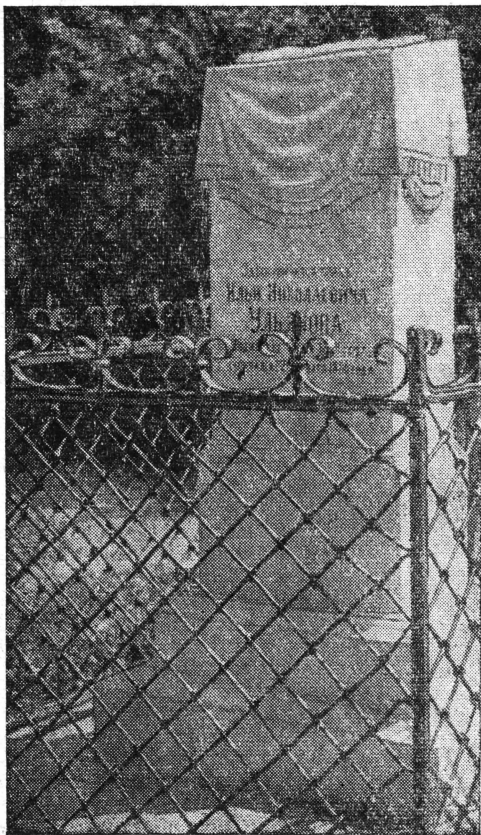
Эта школа в Промзино (ныне Сурское) была открыта И. Н. Ульяновым в 1879 году.



колаевича Ульянова и открыл здесь первую в России сельскую школу для слепых детей.

Другой поход следопытов проходил по маршруту: Ульяновск — Сурское — Сара — Барслобода. И в дневнике этой группы появились записи, копии документов. Вот приговор схода крестьян Промзинской волости от 9 июля 1872 года, вынесенный в связи с предложением Ильи Николаевича Ульянова преобразовать училище в селе Промзино в волостное двухклассное училище повышенного типа. Крестьяне выделили деньги, для того чтобы перенести и поставить на новое место здание, предназначенное под школу. В ноябре этого же года Илья Николаевич получил рапорт волостного старшины о том, что училище «постройкою окончено и во всем готово».

Вот как описывал И. Н. Ульянов Промзинское учебное заведение: «Училище помещается в уступленном обществом весьма удобном деревянном доме. Длина и ширина каждой классной комнаты по 11 аршин, при высоте 4½ аршина». Он указывал также, что рядом есть небольшой участок земли для грядок и цветочных клумб, площадка для игр и занятий гимнастикой. Заведовать этим училищем Илья Николаевич направил своего воспитанника Романа Алексеевича Преображенского, который пробыл на этом посту свыше шестидесяти лет.



Могила Ильи Николаевича Ульянова.

Следопыты записали интересную историю воспитанника Ильи Николаевича Петра Алексеевича Пятницкого. Ему Ульянов помог определиться на педагогические курсы, после окончания которых назначил молодого учителя в начальное училище Алатырского уезда, а в 1875 году перевел в Промзино. Илья Николаевич постоянно поддерживал способного педагога, не раз выражал ему благодарность «за весьма старательное и успешное исполнение преподавательских обязанностей».

Ребята встретились с дочерью П. А. Пятницкого Калерией Петровной, она рассказала, что Петра Алексеевича перевели в Сару из села Кученяева. Норма на учителя была 60 человек, но хотя в первом классе их набиралось до ста, к выпуску оставалось 30—35 учеников. Старшие обычно уходили на работу. В распустье дети обучались в лапти с привязанными к ним деревянными колодками. Девочек оставляли дома нянчить малышей, они помогали по хозяйству, пряли пряжу, шили.

Калерия Петровна вспоминает: «Писали на грифельных досках, бумаги было мало, тетради шили и линовали сами учителя... На партах сидели по 8—9 ребят. После окончания занятий перед летними каникулами учебники сдавались в школу».

Крестьяне любили Петра Алексеевича, обращались к нему с различными просьбами. У нас в квартире имелась общая библиотека, отец выписывал журналы, газеты, книги, приобрел ставшую популярной уже в то время энциклопедию».

В 1919 году П. А. Пятницкий был делегатом I Всероссийского съезда по внешкольному образованию в Москве, где слушал речь В. И. Ленина и доклад Н. К. Крупской о воспитании детей. Об этих памятных днях в столице он рассказал на съезде учителей Алатырского уезда.

Калерия Петровна поведала следопытам о том, как в их селе провозгласили Советскую власть: «Все организации села, а также школы подготовились к демонстрации: красные плакаты с лозунгами, у детей в руках красные флажки, рукава учителей перевязаны красными лентами... Выстроилась большая колонна — впереди большевики, за ними — школа, хор и граждане села. Демонстрация направилась в Засарскую пойму, за мост через речку Сарку. Из Засарья шла такая же колонна с пением революционных песен. Вечером драмкружок дал постановку спектакля «За народ и за свободу!» и показал живую картину «Молодая Россия».

Материалы, собранные во время этого похода, ребята представили на областной смотр, где заняли первое место и получили бесплатную путевку в Артек.

К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина у следопытов большие планы. Один отряд побывает в Ишеевке и Полдамасове, где открывал школы Илья Николаевич, другой — в Загорскино, Аксаково, Анненкове, третий — в Новой Урени. Надо уточнить, кто из старожилов участвовал в Октябрьской революции, записать их рассказы, поискать оригинальные книги, учебники второй половины XIX века, проследить историю школ, узнать о перспективах колхозов, совхозов, глубже понять те преобразования, что произошли на родине Ильича за годы Советской власти.

А. ГЛАЗКОВ

СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА



Сложными путями попадала ленинская «Искра» из-за рубежа в Россию. Ее доставляли в чемоданах с двойным дном, заклеивали в переплеты книг, прятали в самых неожиданных местах. Агенты «Искры» пробирались лесными тропами и полевыми дорогами, через болота и горные перевалы.

Один из таких путей повторили студенты Кременецкого педагогического института Тернопольской области. Они встретились с крестьянином А. С. Сенькиным* из деревни Збручанское. Подростком он был искровским курьером. Забирал газеты из лесной сторожки, в которой находился тайный пункт передачи, и переправлял через пограничную реку Збруч.

В 1939 году А. С. Сенькина выбрали делегатом Украинского народного собрания, провозгласившего Советскую власть на Западной Украине.



Во время боев на Северном фронте в годы Великой Отечественной войны в районе села Ловозеро Мурманской области на вершине горы Карнасурт разбился и сгорел наш самолет. В селе установили обелиск в память о погибших, но имена их оставались неизвестными. Следопыты школы-интерната решили узнать имена летчиков. Их поиск окончился успешно.

В феврале 1969 года на обелиске была установлена мемориальная доска с именами: гвардии капитана Н. В. Полтавцева, гвардии подполковника А. Л. Базилевского, гвардии младшего лейтенанта К. И. Бердникова и гвардии сержанта Н. И. Мишакова. Удалось разыскать родственников героев и однополчан. Следопыты пригласили их на открытие мемориальной доски.

На митинге Олег Базилевский зачитал письма покойного отца. В одном из них летчик писал: «Когда вырастешь большой, приедешь сюда и увидишь, где бил врагов твой папа».



Окрестности Западно-Сибирской дороги, которую я только что проехал всю (1300 верст от Челябинска до Кривошекова, за трое суток), поразительно однообразны: голая и глухая степь. Ни жилья, ни городов, очень редки деревни, изредка лес, а то все степь. Снег и небо — и так в течение трех дней», — писал Владимир Ильич Ленин матери со станции Обь. Письмо датировано 2 марта 1897 года.

Студенты Челябинского педагогического института совершили поход по этим местам и собрали материал о том, как изменился край за годы Советской власти. На страницах институтской многотиражки следопыты рассказали о виденном, организовали выставку фотографий.

Л. ГУРВИЧ

Краеведческий музей Аллагуватской средней школы Башкирии — один из лучших в республике. Здесь есть отдел природы, где можно увидеть живую змею, чучела зайца и ежа, курицы и грача, голубя и сойки. На стене метровой длины китовый ус. Его привезли из Одессы. А из походов следопыты принесли почти истлевший штык, старую винтовку, национальную одежду, изделия народных умельцев.

Вряд ли в других музеях Башкирии найдешь медные монеты и бумажные деньги с петровских времен до наших дней. Но гордость ребят — это история полувекового пути села Аллагуват. На стендах фотографии красногвардейцев, первых колхозников, первых коммунистов, комсомольцев, пионеров.

Бережно хранит школа память о тех, кто в тяжелую годину с оружием в руках отстаивал честь и свободу Отчизны. Около трехсот аллагуватцев не вернулись с фронта. Их портреты и снимки живых односельчан — участников Великой Отечественной войны, рассказы о подвигах земляков занимают главное место в музее.

Выпускник аллагуватской школы Хасан Багдеевич Ахтямов восемнадцати лет ушел на фронт. Вот в витрине копия его наградного листа. Скупые строки рассказывают о подвиге война, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В следопытский музей села Аллагуват приходят учителя, школьники и жители соседних деревень и районов.

В. ЕРАНОСЬЯН



В. ПАНЧЕНКО

Легенда

Живет в народе сказ изустный
Над Бугом, Доном, на Суле
О том, как путник седоусый
Идет по утренней земле.
Его плащом широкополым
Играет ветер полевой,
А он идет бескрайним полем —
Легко, с открытой головой.
А над хлебами, над дорогой
Звучат могучие слова:
«Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива...»
К его ногам пшеница гнется,
Все жарче солнышко печет,
И песня жаворонка льется
К нему с заоблачных высот.
А он идет; и на просторах,
По деревням, среди дорог
Находит в шутках, разговорах
Слова для новых звучных строк...
Восход сменяется восходом,
Но песню время не берет —
Одной судьбой живет с народом
Певец, бессмертный, как народ.

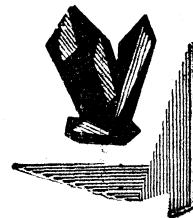
Авторизованный перевод с украинского
Глеба ПАГИРЕВА.

Гроза в горах

Бьет о скалы копытами гром,
Горизонт еще темен внизу.
И хоть сполохи молний кругом,
Но рассвет уже гонит грозу.
Снег на горных вершинах глубок,
И на острой скале, словно тень,
Удивленно глядит на восток
Настороженный горный олень.
Испугал головы его взмах
Тучу, плывшую мимо вершин,

И рассыпалась туча,
В ручьях
Зазвенев крупным градом дождин.
Вот уже и развиднелся день.
Ветер терпким настоем пропах.
И сдается, что быстрый олень
Людям солнце принес на рогах.

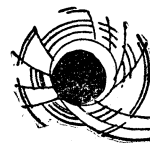
Авторизованный перевод с украинского
Анатолія КОРШУНОВА



Н. СТАРИКОВ

Студенты

А мы разгружали уголь —
Глыбы и мелкоту.
Как шесть огородных пугал,
Качались мы на ветру.
Над нами мечами узкими
Висели прожектора.
Нам так хотелось с разгрузкой
Справиться до утра!
И мы шуровали лопатами,
И сплевывали, хрипя.
Светились глыбы лобастые,
Чернели лица ребят,
А после,
Швырнув лопату,
Бросившись на пиджак,
Витька сказал: «Ребята,
А кто-то всю жизнь —
Вот так».



В. ТРЯПША

Дальний Восток

Ты так еще загадочен и вечен,
хвоей осыпан,

с молодостью венчан,
как тот горнист в далеком гарнизоне,
трубящий сбор сержантам и муссонам...
Восток, Восток, проливы опустели,
над побережьем чайки пролетели.
Печали побережий, невода,
соленая и сладкая вода.

Ты весь

от первых до последних капель
с ребятами, что тянут мерзлый кабель,
с лохматыми туристами на сборах,
в бетонных тумбах-электроопорах.
Ветвистые лосиные рога —
антенны твоего материка.

Ты бесшабашен, юн еще и страстен,
транзисторами

ловишь песни странствий.
Ветра ночные на плечах ты держишь.
Во что ты веришь?

В человека веришь!
Колышет море мачты или пеленг,
и соль ладони ест до черноты.
О, мой Восток!

О, мой далекий берег!
Я буду жить,
покуда жив и ты!

В отпуск

В этом городе я не случайно,
а хожу и смотрю «с земли»,
как отчаливают,
как причаливают
многотрубные корабли.

Я смотрю на швартовые тросы,
на растянутый в небе дым,
на широкие спины матросов,
проходящих по мостовым.
Я уеду. И в тихом селении
будут пичкать меня вареньем,
председатель

во время отпуска
«подсобить» попросит для «области» —
заять поднять.

Наградят транзистором

вместе с лучшими трактористами.
Но повеет далеким портом,
ветром, чайками у песка.
И ладони запахнут морем,
ожидающим моряка.

* * *

Здесь все продумано, законно:
стучись на тихий свет оконный —
откроют, дождик отряхнут,
в тепло веселое
втолкнут.

Уж коли друг — так открывайся,
входи, как гость, на хлеб, на чай,
садись к столу и не стесняйся,
уху артельную хлебай.

Смеются парни:

— Ну, ашаешь!

— Тебе бы с коком поашать!

— Ты сети всякие потянешь,
коль стол умеешь прибираться!

А я сижусь. Расстегнут ворот.

Сижусь, забывший обо всем.

Сентябрь в ночи, как будто ворог,
свистит в два пальца под окном...



Т. БЕЛОЗЕРОВ

Кулик

Опять распахнута дорога
дождям осенним и ветрам.
В глуши,

на отмели отлогой,
Грустит кулик по вечерам.
И, покидая шум причальный,
Спешит осенняя река
Услышать тихий и печальный
Прощальный голос
Кулика.





В ЖАВОРОНОЧЬЮ ПОРУ

Рассказ

В. КЛИМУШКИН

Рисунки А. Туманова

Случилось это на виду у деревни. Не в поле, не на дороге, не на краю где-нибудь, а возле самого магазина. Старенький «фордзон» — латаные-перелатаные бока, — разбежавшись, скатился под горку, мягко шурша по крышечкам по затвердевшей от машин корочке, несколько раз подпрыгнул на бревенчатой кладке через канаву, мотая за собой прицеп с навозом, и, влетев в лужу, перегородившую улицу с недавнего паводка, забился, затарахтел, изогшел дымом и заглох. Как ни бился с ним Санька — и свечи менял, и карбюратор ощупал, и жиклеры продул — никакого толку.

24 Сломайся трактор в другом месте, Санька осмотрелся бы не спеша, подумал и нашел обязательно причину. Никакого труда Саньке бы не составило.

Он сам этот трактор собрал. А то стоял он за сараем, ржавел с самых что ни есть нэпманских времен. Еще в школе учась, разобрал его Санька с ребятами и заново поставил. Части многие заменил, а которые отремонтировал на машинном дворе. Вот и ездит с прошлого года. Как восемь кончил, так прямо на нем, на своем, и взяли в механизаторскую бригаду...

Спокойно посмотреть — и Санька нашел бы причину. А тут все из рук валится. Народ ходит, окна кругом, напротив магазин, двери его не закрываются, — то один, то другой бежит.

Немного погодя окружили лужу ребятки, стали советы давать: «сделай, мол, то, возьми этак. Словечки разные к Саньке несутся, смешочки со всех сторон. Кого и слушать — не знает Санька.

Не стерпел он, ключей набрал поболь-

ше и, как был в комбинезоне и сапогах, так и полез под трактор, в грязь, в воду.

— Санечка, тебе, может, подушечку принести? Ты скажи, мы сейчас!.. — ехидничают девчонки.

— Го-го-го!.. Искра в землю ушла, лови, лови, вон в луже.

— Санька, сукин сын, не лежи на сырой воде, а то за мамкой сбегаю!..

Да шел мимо Петрок Лапшин из соседней Захаровки, демобилизованный всего как неделя. Галифе на нем новенькие, яркого сукна, и только из-под утюга. Пиджак нараспашку, военная фуражка набекрень сдвинута, и чуб из-под нее, растрепавшись, свешивается. Идет, заложив руки в карманы, и дымок от «Беломора» за ним вьется. Гуляет парень с утра пораньше.

Постоял Петрок, покачался на ногах, икнул громко, мутным взглядом обводя собравшуюся ребятню.

— А ну-ка, расступись! — И рукой в белом рукаве так и полез в карбюратор. Покопался минуты три, подкрутил что-то, изменяясь в лице с натуги, вытер роскошно о галифе руку, кивнул Саньке, переходя на сторону, — «Заводи, мол!»

Кинулся Санька, страстно желая поспрашивать Петрока и самому выбраться из дурацкого положения.

Но загредел, задрожал трактор, синий чад пошел от промасленных боков и из-под низу, закачалось у Саньки перед глазами в едком дыму лицо Петрока с презрительно оттопыренной губой.

— Учи вас, салак!.. Технику понимать надо... деревня!

Поправил фуражку, повернулся и зашагал дальше, из-за плеча сизый папирозный дымок вьется.

Дернулся ему вслед Санька:

— Да я ж!..

Кому тут объяснять станешь! Петрок по той стороне улицы вышагивает, и ребятшки за ним, Санькин трактор забыли...

Вскочил он на сиденье и полный газ выжал. Рвануло трактор из лужи, обдав брызгами Саньку. Громко ойкнули на прицепе, заголосили дурными голосами две пожилые теткы — подсобницы, и пошел Санька по деревне на полной скорости, нарочно досадить стараясь и самому себе, и трактору.

Гудит, перебирая колесами, старенький тракторишко и прицеп за собой мотает...

За последними деревенскими рябина-

ми сбавил Санька скорость — передохнуть и обтереться. Оглянулся по сторонам, посмотрел на большак, убегающий прямо и скучно.

— Эх, все равно уж! — и, резко завернув, пустил трактор вбок по дальней, малоезженной, петляющей между лесками и болотцами, дороге.

— Вот вам! — словно грозясь кому-то, перебирает рычагами Санька. — Ну и пусть... А мне то что? Наплевать!.. Подумаешь! И всегда так! — ниже клонясь и шмыгая носом, бормотал Санька, не замечая дороги. — Всегда мне так: и трактор хуже, чем у всех, и в самые дальние рейсы посылают, будто я им обязанный. Сегодня вон бригадир на разнарядке грозился, сердясь на кого-то:

— Я вам, товарищи механизаторы, прямо говорю, время вон какое наступает — посевная, и нам чтоб никаких левых рейсов, перекуров. Нам сейчас норму давай... Вон в городе как? Хоть семь потов с тебя, а нормы нету, ни на шаг от станка... А вы что, особенные есть какие люди? Вот прошу это к сведению...

«Ему хорошо говорить, — кривится Санька. — А мне на расстоянии на таком и на ломачье ездить, попробуй-ка. Ему в музей, а не в эксплуатацию... Само начальство взяло бы поработало, а потом указывало: Санька, ты такой, Санька, делай так, не делай вот так... Возьму и уеду, — зашмыгал носом Санька. — Очень надо на поломанном ездить. Вот в соседний «Рассвет» подамся, у них новенькие «Беларусь» пришли, или на гусеничный сяду. Пускай дураков ищут... С руками в «Рассвете» заберут, у них механизаторов во как надо! Уйду!» — как о решенном думалось Саньке, чем дальше отъезжал он, и даже сразу легче сделалось.

«Завтра же уйду, брошу этот хлам или угроблю своей рукой, пускай что хотят, то и делают... В город лучше подамся, поступлю в техникум или училище, вон — Колька пишет: приезжай да приезжай, Санька. У нас, говорит, техники разной навалом, в столовой три раза кормят и одежду форменную дают... Так и пишет: «Бери у мамки на дорогу и кати ко мне — устрой».

Спохватился Санька, далеко заехал, и не видать сзади деревни. Чем дальше, тем незаметнее и вязче становится прошлогодняя колея. С каждым новым метром брызжет яростнее грязью из-под колес, и громче с прицепа ропот. Огля-



нешься, до горизонта уходит глубокий, с отметинами след. На пустынных, поднявшихся опарой, рыхлых полях. грифельком по аспидной доске чертит тракторишко кривую в загогулинах линию.

Поднял голову вверх Санька и зажмурился даже: солнце, побелевшее от жара, больно бьет по глазам. За ключьями сырого, сползающего за горизонт тумана широко открываются дали в сплошной разноцветной дымке, курящейся весенними запахами. А небо над ним синее-пресинее и густое, хоть пригоршнями черпай. Вдохнул Санька.

— Красиво как!..

Вспомнилось ему: по бабушкиному календарю сегодня первый день весны, сегодня должны прилететь жаворонки. И кто увидит первого жаворонка, будет тому на всю жизнь счастье... Но это ерунда. Санька бабушкиным сказкам не верит.

«А все-таки,— промелькнуло у Саньки,— в другой раз я бы не вытерпел, походил бы по полю, поискал глазами в небе. Кому* не охота. вот так, запросто, раз — и счастье на всю жизнь...»

Жмурится Санька, чувствует, как нутжно гудит, вот-вот заберется в густую грязь, засядет трактор.

Развернулся Санька по скользкой обочине и въехал по твердой, в прелой листве стежке в начинающийся лесок.

Голые прутья кинулись навстречу, цепляются, дерут, как скребком, брезентовый верх.

«Вот возьму и р-раз! — сжался на сиденье Санька.— Прямо на пень! Пускай и остается здесь трактор...»

Увернулся, проехал мимо корявого, в свой рост, трухляка, подмял березку, выскочил на поляну, осевшую мягко под колесами, а там снова поля, черным-черно до самого края.

Перевалил Санька с бугорка в поле, навстречу двое, стоят, руками размахивают, на трактор не смотрят, вроде и не слышат вовсе, заговорились.

Санька так и ахнул. Председатель и агроном. Перевернулось в нем что-то, и взгрустнул сразу. Медленно съехал с бугра и остановился, дожидаясь, когда подойдут к нему оба...

— Кудай-то, герой? — первым подошел председатель. Нацепив очки, оглядел трактор, потом Саньку, слушая, что говорит он простуженным голосом.

— На четвертое поле, говоришь? — сняв очки, остановился на нем глазами председатель. — Это куда же тебя понесло? Если не ошибаюсь, это совсем в другую сторону... Так, Григорий Иванович?

— Да, конечно, — мельком глянув, подошел к прицепу агроном.

— Ну, товарищи, — развел руками председатель. — Вчера было собрание, дали обязательство экономить горючее, ни минуты чтоб лишней. И вот тебе номер!

— Постражайте его, Исидор Романович, постражайте! — в один голос запели тетки. — Мочи с ним нет, все седалища побили, каждый раз что-нибудь чудит!

— Слышишь вон, что народ говорит? — укоризненно произносит председатель. — Ох, Александр, будет у нас с тобой серьезный разговор... Ты вот что, давай-ка заскочи после работы ко мне... И машет рукой:

— Поезжай! И помни, Александр, от того, как вывезем удобрения, так и пахоту начинать. Все от нас самих зависит.

Отходит от трактора, сразу позабыв про Саньку, записывает что-то в блокнот.

Санька сидит молча, усмехается про себя загадочно, агронома поджидает. Тот худой, выше председателя в полтора раза, в балахоне до пят и фуфайке под низом, как на зиму куда собрался, беседует с тетками, мнет пальцами в костистых суставах навоз. И в щепоть возьмет, и к глазам поднесет.

— Вот черт сухопарый! — почти в открытую злорадствует Санька. — К носу лучше...

Наконец, бросив щепоть обратно, на ходу протирая пальцы балахоном, пошел следом за председателем. И скрылись в леске, будто их и не было.

— Да-а!.. — раздумчиво почесал голову Санька. — И чтоб попозже мне, одно к одному...

Опять покотил, теперь уже через поле, напрямик к дороге.

Едет и смотрит — там, где начинается дорога, не то человек, не то еще что чернеет, стоит, не пошелохнется. Подъехал Санька ближе — ан нет, и голова имеется, шапка на ней зимняя, меховая, и пальто, и валенки. Стоит неподвижно фигура, как приставлена здесь для чего-то, на батожок опершись, повернувшись в Санькину сторону. Присмотрелся Санька получше и узнал деда Кондрата, самого древнего по всей деревне. Уже и мохом оброс дедушка, и бороды не осталось, повывезла вся, клочья одни торчат. Стоит дед, кузовок, подвешенный на батожке, держит, и одет, словно в дальний путь собрался.

— Бог в помощь! — кланяется дед, мигая бельмасыми глазками. Стронувшись с места, перебирая ногами, ковыляет к трактору.

— Далеко собрался, дед? — интересуется Санька, дождавшись, когда дед, передав Саньке палку с кузовком, поставит ногу на подножку и за руку протянутую уцепится.

— Ха-а? — дохнув табачным дымом, валится на сиденье дед. От пальто его повеяло на Саньку лежалым сухим запахом.

— Далеко, говорю, собрался?

— А вези как знаешь, — слабо кивает дед, — все по дороге...

— Уж не по грибы ли? — косится на кузовок Санька. — Дед, не по грибы ли?

— Во-во, по грибы...

— Так нету еще грибов, дед! — весело кричит Санька и, чувствуя твердость дороги, пускает трактор напрямик.

— Можга и нету! — соглашается покорно дед. — А то когдась были маленькие, «чертиками» называемые...

— Можешь, дед, домой ворочаться, ничего не найдешь, — смеется Санька. — Через два месяца приходи...

— Дык, я-то знаю, — хихикает дед, раздвигая сухие губы в черной пустой улыбке. К Петровкам они самые, грибы... Не дожить мне, к троюцкому дню кончиться должен...

— Почему, дед?

— Предчувствие имею, и сноха сон видела: двое в белом, я промеж них... Это оно к кончине...

— Врут, дед, сны, не верь, предрас- судки все!

— Ха-а?

— Врут, говорю, сны...

— Да-к оно так, конечно, а нам как от родителей заведено, так оно и идет...

Подивился Санька на деда, улыбку всю дорогу скрыть не может, а по дороге осинник приближается, сыростью тянет из него и прошлогодней прелой листво- вой. Какие там грибы! Смех!..

Остановил Санька трактор, помог де- ду выбраться. «Еле переставляет валенки и тоже мне — в лес. Сидел бы на печи!»

— Дед, а страшно помирать?

— Ха-а? — с готовностью подставля- ет ухо дед, не переставая улыбаться, бес- смысленно и жутко.

— Страшно помирать, говорю?

— Вам, молодежи, можа оно и так, а я дык три войны прошел, не запужал- ся, а смерти дык... Хы-хы... — крутит го- ловой дед Кондрат. — Прибирай, мать- земля... — И поник головой на пристав- ленный батожок, стоять остался у края.

— Дед! Посиди, дед! — кричит на прощанье Санька. — На обратном пути заеду!..

Закачал головой дед, не расслышал, видимо; и остался стоять так.

Далее путь Санькин лежит мимо го- лого, редкого осинника, а там уже и поле начинается. В нескольких метрах от поля, сразу за леском, телятник: низкое строе- ние под черепичной крышей.

Развернул Санька трактор, глубоко всадил колеса в клейкую землю. Поднял стаю грачей, взметнувшуюся с криками над головой, соскочил и, с удовольстви- ем пробежавшись, упал на меже, с еле намеченными острыми иголками травы. Минут пять лежал не шевелясь, глядя в небо.

Здорово холодила еще земля. Под- нялся Санька, походил у трактора, злясь на теток: одни вилы сбросят — полчаса стоят, всегда они так, — и побрел к те- лятнику.

Выскочив из ворот, подлетел к нему лобастый бычок пегой масти. Еле дер- жится на мосластых ногах, и давай бо- даться.

— Но, но, но! — похлопал Санька бычка по крутому лбу и, обратно вта- щив в ворота, выпустил, громко затопав ногами:

— Брысь! Я тебя!..

Отпрыгнул бычок в сторону, хвост тру- бой. Посмеялся Санька, к дверям идет.

— Здравствуйте, тетя Нюра!

— А, Саня, давай проходи!.. Да если к Таисье, то нету ее тут...

— Да не, я так просто, — останавли- вается Санька. — На тракторе приехал. — И на всякий случай спрашивает: — А где ж она?

— А вон в тепляк иди, отпаивает при- бильного.

Поговорил Санька еще немного и идет в тепляк. Таисья стоит у стены, Саньку поджидает.

— Чтой-то ты телка гонял? — не от- ветив на приветствие, суживает глаза Таисья. — Детка маленький... Думаешь, я не видела?

— А что ему сделается, телку? — усмехается Санька. — У меня сегодня по- хлеще было, целый час трактор заводил, форсунка полетела...

— Да-а!.. Ну!.. А у нас Пестрая оте- лилась! — подумав, говорит Таисья. — Хорошенький... Хочешь, покажу?..

— Ну его! — морщится Санька. — Чего их, не видел, что ли?..

— А то покажу... Ну, не хочешь, не надо!

— Ну, покажи!

— А сейчас не покажу уже, не хотел сразу...

— Ну, я сам тогда.

— А я не пушу! — И сама отступает к двери.

— Тебе чего — жалко? — надвигает- ся Санька. — Покажи, Тась!

— А ты не хватайся давай, понял? Пусто, говорю! Черт косолапый!..

Вырвалась Таисья и на Саньку зама- хивается. Санька, будто защищаясь, опять к ней, к себе притянул.

Встала перед ним Таисья, волосы сбившиеся оправляет, на Саньку глаза- ми — съест сейчас.

— Знаешь что! А ну, катись отсюда!..

Саньке хоть бы что. Стоит, смеется, доволен.

— Все, Тася. Мир!..

— Ну тебя... Иди на трактор свой...

— Тась, а Тась, — посерьезнев, садит- ся на корточки Санька. — Знаешь чего? Уеду я отсюда, — не подымая головы, го- ворит Санька. — На днях рассчитаюсь и — фьють...

— И езжай, мне-то что... Где такие конопатые нужны...

— Нет, в самом деле, Тась...



— Ну и уезжай,— отворачивается Тася, ковывая носком землю.

— В город поеду, в техникум устроюсь, или к Кольке. В навозе копайся тут...

— Ишь какой чистюля стал... В навозе! — передразнивает Тася.— Ну и езжай, пожалуйста, жалеть кто-то станет...

— Ты брось мне эти штучки!..

— А то что ж, ты думаешь... А в клубе кто играть будет?

— Найдутся! — поднимается, отряхиваясь, Санька.— Радиолу заведут...

— Да, радиолу, а в самодеятельности кто? Ты не забыл? Сегодня репетиция, смотри не приди!..

— Слышь, Тась!..— переводит разговор на другую тему Санька.

А с полей надсадно, в два голоса, вот-вот надорвутся, орут тетки:

— Са-а-нька!..

— Слышь, Тась! — торопливо бормочет он.— Пойдем вечером в кино?

— Может, и пойдем,— спрятав за спину руки, отворачивается Тася.

— Нет, вправду, пойдешь?..

— Ну, может, и да...

— Я найду тогда?..

— Ну, заходи,— это уже из сеней говорит Тася, и дверь хлопнула.

Санька глядит некоторое время по сторонам и хочет идти к трактору, но передумывает, направляется в другую

сторону... «Подождут,— кривит губы Санька.— Спешить некуда, все равно скоро отсюда — фьють!»

Побродив за воротами, уселся на пенек погреться. Часов у него нет, солнце поднялось высоко, жарит всюду, наверное — около двенадцати. Вспоминает: дома его ждут в двенадцать обедать, мать говорила, блины чтоб горячие... «Ну и пусть подождут, нужны они, блины!»

«И дед ждет,— спохватывается Санька.— Как он там — грибов, небось, полную корзинку набрал, до дому самому не донести. Умора!..»

«И председатель ждет! — перечисляет в уме Санька.— И бригадир... И все ждут, потому что пахота скоро...»

«А в клубе, верно Таська сказала, играть некому будет, попробуй-ка кто, как он, Санька, на баяне!...»

— Во, как! — вскакивает Санька.— Попробуйте-ка все без меня!..

И краска гордости заливает щеки Саньки.

— Ладно уж, так и быть! — снисходительно бормочет он.— Ругаете Саньку, а куда вам без него!..

Обратный путь проделал Санька на скорости, выжал все из трактора.

Возле осинника остановился покликать деда. Нету нигде, не видно его ни на дороге, ни в леске. Походил Санька, пошуршал листвой. Дед как сквозь землю провалился. Прокашлялся Санька, и обе руки ко рту:

— Дед!.. Дед Кондра-ат!..

Стегнуло по кустам пастушьим бичом эхо и пошло перекликаться по лесу. Нырнул Санька в осинник, где погуще, и только открыл рот гаркнуть... Из-под ног — вжик, и прямо перед Санькой вспорхнул, как подброшенный, серенький комочек. Вскочил Санька на кочку и, запрокинув голову, проводил глазами уменьшающуюся точку, пока совсем не исчезла. И сверху — не то чирикание, не то молоко о подойник ударило тоненькой звонкой струйкой...

— Жаворонок! — ахнул Санька и долго, пока не заболела голова, смотрел вверх, выискивая птицу.

Весь остаток дороги насвистывал Санька и неприятности свои позабыл. Отчего — и разбираться не стал. Может, солнце припекло, разогрело приятно спину и бока, может, ветер с полей удивительно свеж в эту жавороночью пору.



ДВЕ НЕДЕЛИ В ПЯТОЙ РОТЕ

Из фронтового дневника

А. УСТЮГОВ

Рисунки В. Васильева

Я беру со стола потрепанный номер толстого журнала, наугад раскрываю посередине. Взгляд скользит по тексту.

«20 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА.

ВЧЕРА ВИДЕЛ НА ЗАГОРОДНОМ ТЕХ, КТО СЕГОДНЯ (А МОЖЕТ БЫТЬ И ВЧЕРА) СРЯЖАЛСЯ И СРЯЖАЕТСЯ НА ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТАХ, ПОД ПАВЛОВСКОМ И ГАТЧИНОЙ. СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК ПОРОТНО ШЕЛ ОТ МОСКОВСКОГО, ПОВИДИМОМУ, ВОКЗАЛА — НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ. НАРОД НЕ КАДРОВЫЙ, НО — КРЕПКИЙ, ХОРОШО ЭКИПИРОВАННЫЙ И, ГЛАВНОЕ, ХОРОШО ОБУТЫЙ. ПРАВДА, БОЛЬШИНСТВО НЕ В САПОГАХ, А В БОТИНОЧКАХ С ОБМОТКАМИ, НО ЗА СПИНОЙ У КАЖДОГО — ПАРА ПОДШИТЫХ ВАЛЕНОК.

30 ШЛИ С ПЕСНЯМИ. ПЕЛИ НЕ СЛИШКОМ ЛИХО. МНОГО ТАТАР И ВООБЩЕ МОНГОЛОИДНЫХ ЛИЦ. ЕСТЬ ПОЖИЛЫЕ, НО ЕСТЬ И СОВСЕМ МАЛЬЧИКИ...»

Но ведь это же о нашем маршевом батальоне, а, значит, и обо мне! Сердце ушаченно стучит.

Кто пишет? Да это же Леонид Пантелеев, автор «Республики ШКИД»! Это его «Ленинградские записи».

Дальше!.. Нет, больше о нас — ничего. Дальше — совсем о другом...

Ну что же, продолжать буду я. Ведь это я нес подшитые валенки за спиной, а сам шел в ботиночках с обмотками. Да, среди нас были и пожилые, и совсем мальчишки, и русские, и татары... И шли мы тогда с вокзала тоже на передовую. Шли по Ленинграду, ночью. И тишина огромного города обступала нас со всех сторон.

Сутки первые.

Помню, прямые заснеженные коридоры улиц чеканили каждый звук. Наши голоса и шарканье ног отдавались, как эхо в горах.

Темень. Сутулились угрюмые черные плечи зданий — то ли от навалившейся на них тишины и снега, то ли от ожидания залпов немецких дальнебоев.

Ленинград стоял мрачный, сосредоточенный и напряженный. Силуэты дотов и противотанковых ежей на перекрестках усиливали это впечатление.

Молчаливый, этот город и нас заставил переговариваться тише обыкновенного. И вдруг... впереди послышался чей-то звонкий непринужденный смех. Пять девушек, одетых в ватники, сгребали с тротуаров лопатами влажный и липкий снег. Голоса их над сугробами звучали как музыка.

Солдаты сразу встрепенулись, зашагали бодрее. Туда, где должно быть большое наступление.

Я стоял под синим светом маленькой лампочки в переполненном дачном вагоне и чувствовал, как ноют ноги от долгой ходьбы, как смертельно хочется опуститься на пол и уснуть, уснуть... А лечь негде. Как я завидовал тем солдатам, которые спали на скамейках под перестук вагонных колес.

Мой взгляд зацепился за багажную полку. Идея! Ну, конечно, туда, пока она свободна! Как ни узка полка, а улечься удалось. И отлично вздремнуть, пока поезд не спеша тащил нас в ночную мглу. Сквозь дремоту я услышал нарастающее визжание тормозов, напоминавшее вой падающей бомбы, не удержался и полетел вместе с противогазом и вещмешком вниз, на головы и плечи солдат, кучно сидевших на скамейках.

Проклятий раздалось гораздо больше, чем я ожидал, так как с других полок упало еще несколько человек. В вагоне стало шумно. Некоторые смеялись, другие сердито ворчали...

Вскоре поезд снова тронулся и, пройдя совсем немного, без толчков остановился. С чувством сожаления оглядел я вагон. Уходим. Покидаем «крышу». А впереди ночь и неизвестность.

Хрустит снег под ногами солдат. Мы идем в сторону от путей и останавливаемся на каком-то склоне. Дует ветер. Холодный. Примораживает. Я сбрасываю с ног сырые набухшие ботинки и надеваю валенки. В них мягко, приятно. Я почти счастлив.

Лица солдат и фигуры различаются смутно. В этой осторожно гудящей толпе я никого не знаю. Еще на прошлой неделе я находился в батальоне выздоравливающих.

— Сегодня немец из дальнебойных не стреляет,— задумчиво сказал стоящий возле меня человек. Я приглаживаюсь, он не в шинели, как я, а в полушубке. Ну, конечно, это капитан, временный наш командир-сопровождающий. Голова у капитана запрокинута, он смотрит вверх, в темноту.

— Тиха украинская ночь,— вздыхает он.— Первую ночь не слышу разрывов. Странно!

— Товарищ капитан! А где это мы?

— На Лисьем Носу,— поворачивается ко мне капитан и строго спрашивает.— А ты разве не знал?

— Не знал.

Капитан уходит вперед, в толпу, затем негромко командует:

— Поротно становись!

Строимся поротно и тянемся цепочкой куда-то вниз, по скату. Ничего не поймешь в темноте.

— Ребята! — спрашиваю я.— Что это за Лисий Нос, по которому мы сейчас идем? Где он?

— А может, это волчий нос или заячий? — острит кто-то сзади.

— Бес его знает, лисий он или какой! — говорит солдат, идущий впереди.— Мы не здешние...

Останавливаемся. Впереди — заминка. Строй нарушается. Ждем, пока разберутся... Ага, понятно! Проходим узкое место. Вот я уже ступаю на толстую обледеневшую доску, которая переброшена через округлую яму со странной пугающей черной глубиной. Замечаю: глубина тускло отсвечивает.

«Да это же воронка,— догадываюсь я.— А под нами — Финский залив!»

Далее двигаемся тропой. Она виляет, обходя воронки-полыньи, подсовывает под ноги скользкие мостки. Доски потрескивают, позванивают ледком — начинает жать морозец.

«А здесь постоянная военная дорога. И немцы, надо думать, к ней пристрелялись. Жди артналета!»

То, что мы идем «путем многих», сразу подтверждают мигающие огоньки. В сгущающейся темноте совсем плохо просматривается тропа. Но вот я заметил впереди огонек. Я принял его за вспых-

нувшую сигарку. Вспыхнула и потухла... Напрягаю зрение, но никак не могу определить, где тот огонек.

— Вот придумали маяки! — восхищенно говорит идущий впереди солдат, чуть поворачиваясь ко мне. — Умный человек нашелся!

— А что горит? — спрашиваю я.

— Газ, — отвечает солдат. — Он в баллоне и понемногу выходит в горелку. Не сразу заметишь — замаскировано.

Мигающий впереди огонек совсем пропадает. Видно, мы его уже прошли, но вскоре вспыхивает другой. Подмаргивает красноватым глазом. Дескать, не робей: хоть и темна ночь, но с дороги не собьешься.

Сзади раздается голос:

— В Кронштадт идем!

— Зачем?

— Там выдадут оружие и... в бой!

— Кто говорит?

— А черт его знает, кто! Все говорят!

Идем вот и помалу травим...

Ответ солдата меня несколько удивляет, и я стараюсь на ходу повернуться, чтобы разглядеть собеседника. Впрочем, я напрасно подставляю режущему холодному ветру свое лицо: вижу только темную невысокую фигуру в шинели и застегнутой ушанке.

Кронштадт! Знаменитый город на острове Котлин, морская столица!

Но ведь не на острове же будем воевать! Само собой понятно: из Кронштадта мы пойдём дальше.

Но куда?

Я уже слышал про какую-то Малую землю под Ленинградом — Ораниенбаумский пятачок. Вот туда, наверное, и двинем!

Пятачок этот образовался еще в 1941 году. С суши немец его полностью окружил и только берег Финского залива оставил свободным. Он бы, немец-то, не оставил, да сил тогда у него не хватило сбросить в море нашу морскую пехоту.

«И впрямь моряки — особенный народ, — думаю я. — Дружные и смелые. Поглядим на них в Кронштадте».

Все тот же солдат с кем-то «помалу травит», несмотря на холодный ветер. Собеседники идут иногда рядом, если тропа позволяет, и до меня доносятся обрывки фраз.

32 Вскоре я понимаю: разговор ведет морячок. А я и не подозревал! Когда он

рассказывает о службе, о братках-моряках, о своей «посудине»-эсминце, на котором уходил под бомбежками из Таллина в 1941 году, голос у него теплеет, прямо-таки становится нежным.

Как же он попал в пехоту да еще и не в морскую? Но тут я перестаю прислушиваться к разговору: в голове туман, одолевает сонливость. Я мотаю головой, чтобы прийти в себя...

Для спящего ночь — один миг, для идущего — целая вечность. Скоро ли наступит рассвет?

Я устал. Капитан не дает команды на привал. Теперь уже нет сомнений: ясно, мы спешим **туда!**

«Пока это все цветочки, — соображаю я. — Наверное, отвык в госпитале от ходьбы, изнежилась, вот сейчас и не тяну. А что будет, когда я повешу на себя винтовку, подсумки и гранаты? Втянусь», — тут же утешаю себя и стараюсь не думать о том, как придется втягиваться.

Смотрю на качающиеся впереди неясные фигуры солдат, слышу идущих сзади, и мне становится легче. Другие держатся, не скрипят.

Вот, еще помеха: правое плечо режет лямка. Нет, не от вещмешка, а от противогаза. Нам пока не дали оружия, а противогазами, новенькими, в чистых зеленых сумках, снабдили. Болтается этот противогаз на левом боку и очень мешает. Строго-настрога предупредили нас командиры: сейчас, когда Гитлер отступает на всех фронтах, противогазы — нужнейшая вещь! Вдруг применит газы?

Я, конечно, согласен — противогаз действительно нужен. Перевешиваю его на другое плечо, становится немного легче идти.

Морозный ветер усиливается. Я постепенно начинаю различать под ногой край тропы. Близится утро. Вскоре цепочка солдат становится видна на далекое расстояние, она растянулась по снежной равнине Финского залива кривой линией.

Темный, едва различимый предмет впереди, когда мы приближаемся, уходит в сторону. Или, может быть, мы уходим от него? Он невелик. Вот я различаю на белом фоне снегов скалу, и у ее подножья груды камней. Это какой-то островок. Мы провозжаем его глазами — он необычен хаотическим нагромождением породы. Уж не бомбили ли его?

...Кажется, что рассветает так же медленно, как двигаемся мы, и, возможно,

мглистые сумерки будут сопровождать нас до самого Кронштадта.

Мы входим в город меж двумя ба-шенными стенами, как через огромные ворота. Останавливаемся. Строимся по-ротно. Снова идем по пустынной, занесенной снегом улице. Поднимаемся на горку. Возле приземистых длинных казарм капитан дает команду разойтись. Похоже, привал. Я ложусь на снег и вытягиваю уставшие ноги. Солдаты проде-лывают то же самое.

Проходит несколько молчаливых ми-нут. Потом, по мере того, как возвра-щаются сила и бодрость, у солдат начи-нают развязываться языки.

Возле меня на снегу лежат двое. Они вынули из мешка сухари и, жуя, переки-дываются словами.

По голосу я узнаю морячка, разгля-дываю его. Ничего особенного: черно-бровый, резко выделяются скулы и чер-ные, как уголь, глаза... По моим представ-лениям, для истинного моряка ростом он не вышел.

Его собеседник лежит ко мне спиной. По фигуре, похоже, совсем еще маль-чишка.

Хлопают невдалеке двери казармы, из них высыпают юнцы в тельняшках и бес-козырьках, бегут во всю прыть куда-то вдоль улицы, затем возвращаются и на площадке перед казармами начинают де-лать зарядку.

— Одни салажонки! — удивленно восклицает морячок, быстро повернув-шись на снегу в сторону юнцов, и, не пе-реставая жевать сухарь, договаривает: — Все как есть военного выпуска!

«Так старые же моряки все на пере-довой», — думаю я, глядя на «салажон-ков», под команду раскидывающих в сто-роны руки и ноги.

Лежать на снегу холодно. Я подни-маюсь и начинаю ходить. Весь батальон бродит вдоль улицы, солдаты хлопа-ют рукой об руку, пританцовывают. Влаж-ный и холодный ветер дует откуда-то сверху.

Где же капитан? Мы ждем команды: сколько можно мерзнуть? Рядом ка-зармы, там тепло. Но мы не идем греть-ся — такая роскошь не про нас, марше-виков!

Наконец, кто-то замечает в конце ули-цы фигуру капитана. Он спешит. Мы вы-страиваемся без его команды.

Капитан резко останавливается перед

строем, щеголеватый в своем новеньком дубленом полушубке.

— Товарищи! — волнуясь, говорит он.— Там... с пяточка наши оборону про-рвали! — и, не удержав улыбки на суро-вом лице, взмахивает рукой:

— Ну, ребята! Нам теперь фрица до-гонять!

«Так вот почему немцы вчера не об-стреливали Ленинград! Им наверное не до него теперь».

Мы проходим улицами Кронштадта, маленького тесного городка. Снова спу-скаемся на белое снежное поле Финско-го залива. Дорога ведет нас на Ораниен-баумский пяточок, который, возможно, уже и не пяточок!

Серенький зимний день. Идем не слишком медленно и не быстро. Это тот самый рабочий ритм похода, про ко-торый говорится в известной поговор-ке: «Пехота — идешь, идешь и идти охота».

В самом деле, сейчас «идти охота» по-тому, что движение спасает от холода. И ноги, получившие команду в далекий путь, шагают автоматически.

Наша цепь растянулась по дороге. Вокруг ровное снежное поле залива, го-ризонт не видно из-за туманной дымки. Только впереди нечетко различаются хол-мы. Вероятно, подходим к берегу.

Вот он, Ораниенбаумский пяточок! Я смотрю на передних солдат. Они оста-навливаются, пятятся в снег, чтобы дать кому-то дорогу.

Пять саней-розвальней друг за другом медленно спускаются с бугра на лед. Заиндевелившие лошадки — небольшие, сытые. Они прытко помчались бы вниз, но их держат туго натянутые вожжи.

Мы смотрим на ездовых, пожилых дядек в шинелях, и на сестричек, юных, круглолицых, в полушубках, — они сидят в санях. Какой бы солдат удержался сей-час, чтобы не пошутить? Но все мы, как один, молчим, так как из-под зеленых па-латок, покрывающих сани, высовываются забинтованные головы. Слышны стоны. Раненые с передовой!

Сани удаляются. Мы поднимаемся на горушку, ничем не примечательную, при-сыпанную снегом, откуда тоже откры-ваются дали самые обыкновенные. И все же я чувствую — здесь та самая Малая земля, не покоренная врагом, продер-жавшаяся против него ни много ни мало — три с лишним года!

Сутки вторые.

К ночи мы не успеваем выйти за пределы бывшего пятачка и делаем привал. Стены кирпичного сарая, теперь почти сравненные с землей, видно, служили до нас пристанищем для многих. Греемся у костров и засыпаем, улегшись на прелой прошлогодней соломе.

Рано утром, еще в темноте, поднимаемся — все засыпанное ночным снегом. Все тело ломает. Снова надо втягиваться.

Начало пасмурного оттепельного дня застает нас перед бывшей немецкой линией обороны. Она на возвышенности. Влево от дороги виднеется овраг, в нем



торчат остатки свай полуразрушенного моста. Прямо к нему свернул один любопытствующий солдат.

— Эй, трофейщик! — крикнул кто-то из колонны. — Куда тебя понесло? Подорвешься на mine!

Солдат останавливается, что-то сообщает и поворачивает назад.

Мы медленно всходим на пригорок. Здесь были они. И не очень давно! Я внимательно смотрю по сторонам и не замечаю никаких особых оборонительных сооружений. Наверное, из-за снега. Белые поля так чисты и спокойны, что трудно даже представить, будто спокойствие это когда-либо разрывалось грохотом боя.

В одном месте я замечаю торчащие концы бревен. Что это? Скорее всего погребенный блиндаж. Да, именно погребенный! Ведь здесь, на Ленфронте, болотистая почва не дает углубляться, и блиндажи строятся наверху, как дома из бревен. Стены двойные, и между ними насыпается земля. Наша артподготовка сровняла немецкие блиндажи и траншеи с землей.

Я смотрю на колею дороги, по которой мы идем. Снег на ней стерт до земли, и ясно видны витки проволоки. Невольно хочется поднять ногу, чтобы не зацепиться валенком за стальные кружева, но шипы загнаны в землю так плотно, что даже не царапают валенок.

Отрываю взгляд от колеи. Впереди, на дороге, спины солдат колыхнутся в ритме небыстрого марша.

Наверное, прошли с километр. Под ногами все та же колючка! И тут до моего сознания доходит: так вот какая мощная линия обороны была тут у немцев!

Сутки третьи.

Это первая деревня, которую мы встретили на своем пути. Пожалуй, починок. Три бревенчатых избы стоят по одну сторону дороги и мрачно смотрят черными пустыми окнами на наши яркие вечерние костры. Мы греемся и варим картошку. Берем ее, не спрашивая, в подвале одного из домишек. Да и некого спросить, жители ушли. Но они были, и не очень давно. Вероятно, угнаны немцем.

Воду добываем из снега. Колодец в деревушке имеется, но никто к нему не подходит. Похоже, что он отравлен.

Соли ни у кого не оказалось. Но пос-

ле того, как опорожнили первый котелок, стало веселее.

Слева от меня полулежит на соломенной подстилке морячок, щурится на огонь. Выражение темных глаз мечтательное. О чем он думает? Напротив, за пламенем костра, сидит молодой паренек Ваня, в валенках, по-турецки сложив ноги... Мешает ложкой в котелке, и его мальчишеское лицо выражает усердие.

Имя его я узнал, когда он попросил позволения «присоединиться к котелку».

— Сколько же тебе лет, Ваня?

Паренек отстраняется от огня и смотрит на меня, словно прицеливается. Его бледное лицо с большими глазами чуть освещается какой-то очень тонкой, но недовольной улыбкой. Должно быть, ему не нравится мой вопрос.

— Девятнадцать... А что?

— Я думал, тебе лет шестнадцать!

— Скажешь тоже! Я уже в запасном году отбухал!

— Молодец! — хвалю я Ваню, потому что понимаю: запасной полк — суровая школа. — А здесь как? Ты ведь на фронте не был?

— Ничего! — Ваня шмыгает носом. — Тяжело, зато знаешь, что не игра, а настоящему...

«Вот вояка», — усмехаюсь я про себя, замечая на лице Вани самодовольную улыбку: я, мол, не хуже вас, фронтовики, сумею бить немцев!

«Жалко, если погибнет, — думаю я про Ваню, — ведь ничего еще не видел в жизни!»

Ваня наклоняется к котелку, подцепляет ложкой картофелину и объявляет:

— Готов!

Лежащий рядом со мной лицом вниз немолодой солдат вскидывает голову в шапку, смотрит на котелок и спрашивает:

— В сам-деле?

Он приподнимается, подгибает ноги, садится. Тянет алюминиевую ложку из валенка. Ест не спеша. Лицо у него безбровое и темное, обветренное. Костер освещает мятую, выдавшую виды шинель.

— Сегодня ночью вам выдадут оружие, — говорит он глухим простуженным голосом, и, хотя не выделяет слово «вам», я вдруг замечаю, что у ног солдата лежит автомат ППШ.

«Он не из маршевиков», — думаю я, глядя, как солдат, задержав ложку на весу, смотрит в сторону, на соседние костры. Я тоже перевожу взгляд и вижу:

там, как и у нас, идет пир возле котелков с картошкой.

— Откуда вы знаете? — спрашиваю я солдата.

— Потому и остановились, что ждем подводы с оружием, — поясняет солдат.

— Так что ж, Павел Григорьевич, выходит, сегодня отдыхаем до утра? — вмешивается в разговор морячок, обращаясь к солдату с почтительным выражением. Видимо, они друг друга уже знают.

Павел Григорьевич опускает ложку в котелок и собирается что-то ответить, но не успевает. От костра к костру передается команда:

— Строиться! Всем строиться!

— Отдохнули! — говорит морячок.

Я беру наполовину выеденный котелок и иду к строю. Затем возвращаюсь, оставляю котелок у костра: говорят, построение временное.

Капитан строит нас необычно, по ранжиру. Я, как не слишком высокий, оказываюсь в конце шеренги. Ваня — рядом. Морячок и Павел Григорьевич попали в середину. В общем, все мы оказываемся в роте номер пять.

За спиной капитана стоят офицеры в солдатских новеньких шинелях. Вскоре каждый из них подходит к своему только что сформированному взводу.

На просеке показались две подводы. В санях — оружие: автоматы, винтовки, ружья ПТР.

Бравый чернобровый лейтенант отводит наш четвертый взвод в сторону и выстраивает по отделениям. Он пытливо разглядывает солдат. Дольше других останавливает взгляд на стоящем рядом со мной Ване. Вероятно, задается вопросом: как мы поведем себя в бою? Не поведем ли?

Потом лейтенант раздает оружие. Двое правифланговых получают ружье ПТР и патроны к нему, еще трое — по автомату, а остальным солдатам достаются трехлинейки и карманная артиллерия — гранаты Ф-1.

Ваня возмущается тем, что ему не дали автомат, но я его утешаю: винтовка в бою может оказаться куда надежнее!

Я втискиваю гранаты в противогазную сумку, и худой высокий чуваш, командир отделения, говорит:

— Куда тебе столько? Отдай половину... Вот этим не хватило!

Отдаю. Беру патроны. Накладываю в вещмешок столько, сколько могу унести.

Война кой-чему меня научила: впереди — неизвестность, лучше иметь запас, чем быть без него.

Как нам объявили, мы числимся теперь во 2-й ударной армии, той самой, которая в 1942 году под Любанью попала в окружение и которая, несмотря на измену своего командующего Власова, билась с немцами героически и, в конце концов, соединилась со своими.

Возвращаемся с Ваней к костру. Морячок с Павлом Григорьевичем тоже подходят, и мы все вместе приканчиваем котелок. Затем накладываем еще картошки и опять варим.

Морячок с Павлом Григорьевичем уже «не наши», ибо уходят во второй взвод.

Мы с Ваней ложимся на солому спать. — Ты знаешь, — говорит мне Ваня полусонным голосом. — Павел Григорьевич остался от бывшей пятой роты. Он и в прорыве был...

Я не отвечаю Ване — хочется спать. Мне и так понятно, откуда пришел Павел Григорьевич со своим автоматом...

Сутки четвертые.

Утром подъехала полевая кухня — котел прямо на санях, — и нас кормят очень вкусной разваренной фасолью. Пьем горячий чай с сахаром.

Затем командиры ведут нас лесной дорогой куда-то на юг.

Не более как через час среди густых деревьев завиделся просвет, и мы выходим на поляну. За ней — деревушка. Громадина-танк стоит посреди улицы с пробитой башней. Бой был, как видно, не очень давно: вокруг танка, в кюветах дороги и в стороне, на притаивающем снегу, — всюду лежат трупы немцев в белых и пестрых куртках. Смерть наступала их на бегу, в стрельбе, в сопротивлении. Один судорожно вцепился в рукоять автомата, другой словно скребет обеими руками снег, третий уперся лбом в землю, — пытался куда-то ползти.

Гренадеры одеты не только тепло, но даже шикарно: шлемы, стеганные куртки и штаны у них особые, выворотные. Их можно надеть, в зависимости от местности, белой стороной или желто-зеленой. На ногах у всех — белые бурки.



— Свое получили! — с ненавистью говорит Ваня, глядя на немцев. — Не надо было к нам соваться!

— Здорово им засаду наши устроили, — говорю я. — Смотри, все лежат головами на запад. Значит, наши их заранее вот отсюда встретили!

Мы уже подходим к самой крайней избе, стоящей у леса. Она с высоким крыльчком и имеет жилой вид, даже стекла в рамах целы — видно, бой был мгновенным.

На крыльчке стоит пожилой сержант с пистолетом на боку и попыхивает цигаркой. Спокойно смотрит на нас.

— Привет! — говорит Ваня сержанту

и подходит к нему, потому что объявлен привал.— Это вы тут фрицев побили?

Сержант нехотя отвечает: нет, еще до них тут «было дело». А они — второй эшелон, пришли в деревню «только-только».

Вечерет. С неба начинает сыпаться редкая белая крупа. Наконец, слышим приказ:

— Строиться!

Деревня уже позади. Сворачиваем с дороги направо в лес. С первого шага проваливаюсь в снег по пояс. Оба валенка словно попали в капкан. Одну ногу вырываю из снега, переставляю. Снова проваливаюсь. Пробую ползти — ничего не получается. Вот так оказия! В такие переплеты я еще не попадал! Выберусь ли? Краем глаза замечаю, что и вся рота беспомощно барахтается в снегу.

— Пошли! Пошли! — тихо шелестят, подгоняя меня, Ванины слова. Чуть не вплавь продвигаюсь немного вперед, попадаю в чей-то след. Кажется, «плыть» сейчас легче, но я все равно кляню и снег, и немцев, и Гитлера вместе с его мамашей! В душе, конечно. Впереди — бой, но нам сначала надо бесшумно продраться через этот огромный, заваленный снегом ельник.

Головной солдат, обессилив, молчком валится на снег, и его место занимает следующий. Когда подходит моя очередь и я становлюсь головным, то чувствую, что делаю сверхвозможное. Мне кажется, что я надорвался и больше не встану на ноги. Но я встаю и иду... Иду, как все.

Постепенно снег становится менее глубоким, лес редее, деревца делаются худосочней и ниже. Мы выходим на опушку. Перед нами — деревня. Выстрелы слышатся как из-за глухой стены. Замечаю на низком черном небе розовые отсветы. Теперь слух различает редкие бухающие взрывы и беспорядочную стрельбу из винтовок.

Что там такое? Уж очень странно ведется бой.

«Ах, да это же не бой», — догадываюсь я. Просто мы опоздали. Немца уже в деревне нет. Он поджег ее вместе со складом боеприпасов, вот и рвутся патроны со снарядами.

Не успели! А все снег!

Вскоре мы видим языки пламени, слабо освещающие огромные головни, остатки бревенчатых изб. Удаляемся от них в темноту. Пальба еще долго слышится за

спиной. Наш путь — непрерывный и бездорожный.

Сутки пятые.

Небольшая деревня при свете дня. Не приняв боя, немцы только что поспешно ушли из нее. Перед крайней избой снег вытопан и измолот бурками, обрызган кровью — значит, тащили раненых!

В открытую дверь избы виден перевернутый стол, и на его ножке повис венский стул. Он еще раскачивается... Паника перед нашим приходом была, должно быть, страшная, и она оставила после себя «панику вещей».

Я представляю, как немцы в смертельном страхе метались тут и выкрикивали: «Рус! Рус!..» Удирали они тропинкой в лес и на восток — ведь мы вошли в деревню с запада! Груды больших зеленых рюкзаков навалены на тропе. В рюкзаках и на снегу какие-то бумаги. И еще всюду под ногами путаются рифленые банки противогазов.

Я ворошу бумаги валенком: открытки, письма, конверты, попадается зубная щетка, снова бумаги с какими-то графами и вязью готических букв.

В деревне мы остаемся считанные минуты. Уходим. Нас нагоняет кухня с сытным обедом.

От холодной поземки мы с Ваней укрываемся за санями. Черпаем из котелка горячий разваренный горох.

...Ночью немец оставляет опять горящую деревню. Осторожно крадемся к ее окраине, чтобы убедиться — не остался ли в ней кто-нибудь. Затем греемся у чадающего пламени.

С неба, из непроглядной темени, доносится гул самолетов. Я определяю: наши ночные бомбардировщики. Свистят бомбы. К счастью, летчики лупят по другому концу деревни. Глухие взрывы подбрасывают вверх головни, разбрасывают веера искр. Получается даже красиво, вроде фейерверка.

— Ну и летчики! Ведь по своим бьют! — удивляется Ваня.— Как же они о нас не знают?

— Бывает, — отвечаю я.— На войне все бывает! Но ты утешься! Это значит, что мы у немца на хвосте. И не даем ему передышки!

— Так мы и до Берлина дотопаем,—

— Дотопаем,— отвечаю я.— Об этом всю войну мечтаем. Только бы выпало такое счастье!

Сутки шестые.

Сегодня день обычный, неяркий, температура — минус 2—3 градуса. Мы настолько привыкли без помех шагать по снежным дорогам, что сообщение о заставшем в недалекой деревне противнике заставляет нас резко встрепенуться. Это необычно: НЕМЕЦ нас ждет!

Колонна сворачивает с тропы в лес и в молчаливом напряжении двигается по неглубокому снегу. Идем в обход деревни. Вот и опушка. Тихая команда: остановиться.

Я стою в конце растянувшейся ломаной цепи. Слева моим соседом Ваня, больше никого нет. Справа — неожиданно для меня — соседом оказывается наш худой и высокий командир отделения, чуваш. Он стал сюда «для укрепления левого фланга».

Глянув на меня с высоты своими узкими, как щелки, глазами, чуваш полупрошепото предупреждает:

— Саработают автоматы, в атаку! Ясно?

Я киваю. Вот они, мгновенья перед атакой... Я скашиваю глаза на Ваню: он бледен, серьезен. Тихо как! Я окидываю взглядом снег, лес и белесое небо. Я видел тысячи вот таких же лесных опушек, елей, ничем не примечательных, но эта опушка, если я буду цел, останется в памяти на всю жизнь! Какая она красивая, эта опушка! Перед моими глазами — сеть из тонких веточек черемухи, которая сейчас, возможно, скрывает меня от глаз немцев. Сквозь ветки виден чистый снег, поле. Снег этот — без единого пятнышка, так и режет глаза белизной. Сейчас придется вышагнуть на этот белый снег и подставить под обжигающий металл свое беззащитное, ничем не бронированное тело. И страх схватывает меня за сердце, теснит грудь...

«Скорее!» — хочу я крикнуть, но молчу.

Резко и неожиданно рвут тишину автоматы, и я понимаю: сейчас мы бросимся вперед.

Со стороны немцев — ни звука, ни

38

выстрела...

— В атаку! — слышится голос. Я рвусь

через куст и оказываюсь на открытом месте. Прямо — снежное поле, которое надо преодолеть.

Неожиданно разноцветные трассы пуль пронизывают воздух во всех направлениях. Справа от меня кто-то всхлипывает и падает в снег. Секунду я вижу неровную шеренгу вырвавшихся из леса: они бегут, падают, снова поднимаются. Позади, в кустах и деревьях, пули сбивают ветки — стоит треск, шорох, стук.

У виска — молния! Вихрь опахивает лицо горячим, смертельным! Падаю в снег. И в этот момент вторая пуля дергает за полу шинели. Над головой — трасса за трассой, но я уже врвался в снег. Приподнимаю голову, поворачиваюсь на бок. Кругозора никакого, все заслонил снежный бугорок, но он же меня, как видно, и спас.

Справа — вижу — в пяти шагах лежит лицом вниз отделенный, чуваш. Он ранен, но не стонет, только дышит со всхлипами. Пытается приподняться. Трассирующая пуля впивается ему в голову. Отделенный никнет и больше не шевелится. Вторая пуля поджигает уже убитого, его шинель тлеет. Едкий дымок тонкой струйкой тянется ко мне...

Кто-то невнятно бормочет слева. Я поворачиваю голову. Вижу: Ваня. Он лежит в снегу на спине.

— Ваня! Не шевелись! — предупреждаю я.— Снайпер! Не выдавай себя! Добьют! Понял?

Ваня хлопает ресницами: понял, мол, и смотрит в небо.

— Где рана?

— В плечо... — морщится и шевелит губами Ваня.

Я прижимаю к плечу приклад винтовки и стреляю туда, откуда летят разноцветные трассы пуль.

«Тах-тах-тах!» — бьют немцы. Но их трассы — выше меня.

Из леса доносятся шорохи, приглушенные голоса. Я оглядываюсь.

За деревом мелькает фигура в серой шинели, затем, выставив автомат, через куст продирается солдат, за ним второй и третий. Ребята моложе меня и, если бы на них не было шинелей, я бы, пожалуй, крикнул: «Куда вы лезете, пацаны! Убьют!» Лезут из леса еще, человек до двадцати. Четвертая рота.

Я смотрю на командира. Он старше бойцов лет на пять, с бледным суровым лицом. Резко и решительно размахивает

наганом в празой руке. Солдаты поодиночке, согнувшись, торопливо переходят прогал. Последним — лейтенант. Когда его спина скрывается за кустом, меня охватывает беспокойство: «Чего я тут лежу? Черт! А лейтенант хитер! Он повел своих не в лоб, как мы лезли, а в обход! По кустикам! Умно действует!»

Я прислушиваюсь к звукам со стороны ушедшей за кусты четвертой роты: кажется, оттуда слышны снайперские щелчки. Приподнимаюсь, встаю. По мне выстрелов нет.

— Ваня! — говорю я. — Прощай! Тебя подберут! А я пошел вперед. Туда...

Ваня молча сигналил ресницами: «Прощай!»

Я торопливо иду к кустам. Там убитый, на боку, как спит, отвернувшись. Слева на пригорке — второй, лицом ко мне, тоже на боку.

Ротный впереди своих солдат. Я вижу, как он, распластавшись на снегу, что-то кричит. Машет пистолетом — дает команду на перебежку. Солдаты неподвижны, вжались головами в снег. И мне понятно, почему: из ложбины никто не вылезает.

Я бегу во всю мочь шагов пять и падаю. Выстрел! Мимо!

Я в ложбине. Еще рывок! Выстрел! Опять промазал немецкий снайпер. А я лежу уже рядом с лейтенантом. Смотрю на его обветренные небритые скулы, он косит на меня воспаленными от бессонницы глазами. Мы понимаем друг друга.

Я стреляю в сторону немцев, хотя не вижу, где они укрылись.

Вскакиваю и делаю перебежку. Траса! Мимо. Падаю в снег. Снова стреляю, пытаюсь обнаружить противника. Между высокими березами виден угол красного кирпичного сарая. «Может, снайперы засели в сарае?» — думаю я и бью по темно-красному кирпичу из винтовки. Выжидаю. Ответа нет. Тогда я вырываюсь из-за дерева. Бегу. Прямо на сарай. Стреляю. Надо мной мелькает тень. Краем глаза замечаю, что это сзади метнул гранату нагнавший меня лейтенант.

Граната рвется у сарая. Бегу во всю мочь. За мной — лейтенант и его солдаты. Я пробегаю вдоль стены сарая, выскакиваю из-за угла и оказываюсь на каком-то склоне. Отсюда сразу открывается даль: пологий снежный спуск. У его основания внизу стоит бревенчатая изба, подальше — вторая, третья... Деревня!

Рядом с избами тянется полоска до-

роги, а на ней, у последней избы, стоит гусеничный немецкий тягач. В кузове — солдаты в белых куртках. Двое бегут и лезут в кузов. Я вскидываю винтовку и стреляю. Тягач трогается с места и набавляет ход. Торопливо доканчиваю обойму и убеждаюсь, что бесполезно стрелял: далеко от меня фрицы!

Тягач набрал скорость: видно, как он раскачивается на рытвинах, а солдаты болтаются так, что, кажется, вот-вот вывалятся из кузова. Удрали, гады!

Со склона вслед немцам раздаются выстрелы четвертой роты.



Крылечко скрипит. Осторожно открываю дверь: нет ли каких подвохов?

В избе на полу у печи стоят две пары белых фетровых бурок. Одни — маленькие, словно с женской ноги, другие — на верзилу, огромные. Кожа разбухла от влаги, поистерта снегом, но бурки все же целенькие и оставлены, видно, в спешке. Не тех ли двоих фрицев, которые лезли на тягач последними?

В избе — тепло, а от плиты потягивает чем-то очень аппетитным. Подхожу. Аромат кофейный идет от ведра. Я трогаю его рукой — оно горячее и полное. Беру ведро и прикладываюсь к его краю губами. Только собираюсь сделать глоток, как меня останавливает голос от двери:

— Стой! Отрава!

В дверях стоит морячок, из-за его спины выглядывает улыбающийся Павел Григорьевич.

— Ну и пусть,— отвечаю я и опять прикладываюсь к ведру. Я почему-то уверен, что кофе не отравлено, да и желание утолить жажду пересиливает всякие опасения. Не отрываясь от ведра, пью.

— Оставь нам,— говорит морячок.— Чего навалился!

Я отдаю ведро. Приятели быстро его доканчивают.

— Ну и фашисты! — крикнув и проведя рукой по небритому подбородку, говорит Павел Григорьевич.— Драпают и то с кофеем!

— Удивили вы меня! — радостно говорю я морячку и Павлу Григорьевичу.— Не чаял встретить живыми и здоровыми!

— В нашем взводе убыль небольшая, только комвзвода ранило,— отвечает морячок.— А где Ванюша?

— Ранен...— и я рассказываю, как это произошло. Потом — о себе, как ушел с другой ротой.

В избу постепенно набиваются солдаты из пятой и четвертой рот. Наш взвод — тоже без комвзвода.

Я раскисаю от душного тепла. Язык не ворочается, глаза слипаются. Лезу по деревянной лесенке на печь. Проваливаюсь в сон...

Сутки седьмые.

Просыпаюсь внезапно. В окошке — синь, уже утро. Голова ясная. Так я ж всю ночь проспал в теплой избе, и никто меня не потревожил. Чудо! Отдохнул! Снова топтать можно.

Странно: из деревни по дороге мы уходим в сторону, противоположную укатившим на тягаче немцам. Когда поднимаемся на горку, видим вчерашнюю позицию гренадеров. Возле самой дороги стоит снежная крепость из огромных скатанных комьев, точь-в-точь такая, какие мы строили, играя в детстве в войну. Несколько бойниц. В них глянешь, и видно лес, из которого мы вчера выходили, и все поле. Вот, отсюда, с бугра, били в нас немцы из винтовок, сами оставаясь невидимыми! Правда, крепость имеет прострелы, следы наших пуль. Может быть, и моих. И снег возле истоптан, а местами окроплен кровью...

Мы все время идем лесами, тропками, глухими проселками. Наша цель — отрезать немца с тыла, и поэтому сведения о внешнем мире к нам поступают с опозданием. Мы не получаем газет и никакой другой информации, кроме устной.

Правда, узнаем, что наша дивизия названа Ропшинской, а 2-я ударная соединилась с другой армией, кажется, 42-й, наступавшей со стороны Пулковских высот. А это значит, что Ленинград окончательно и бесповоротно освобожден от блокады!

Нам завидно, что это не мы встретились с той, другой армией и, вроде, оказались в стороне от главных наступающих сил. Где эти силы?

Случилось так, что мы их увидели, когда на исходе дня вышли на шоссе.

Ничто так не может обрадовать пехоту, как вид стремительнодвигающихся своих «тридцатьчетверок». Вот они, стальные, рвут гусеницами снег, который шматками летит во все стороны.

Танкист в шлеме, высунувшийся из башни и слегка косящий глазом на нас, кажется роднее батьки!

Шесть последних танков почему-то сбавляют ход, потом останавливаются. Через несколько минут они трогаются, а за ними мы, как приклеенные. Оказывается, мы сопровождаем эти танки. Колонна движется медленно. Нас обгоняют «виллисы» с прицепленными к ним противотанковыми пушками, зенитки, долго тянутся грузовики с боеприпасами, проходит несколько самоходок, выкрашенных мелом. И все это катится по шоссе вперед, на запад. Погода не для авиации: снежок без конца косо штрихует ближнее поле и дальний голый лесок.

Незаметно смеркается. Сворачиваем

с шоссе налево. Испятнанные снегом и мелом танки глухо рокочут впереди.

Часа через два, при полной темноте, сбоку колонн появляются пешие разведчики. Они обгоняют нас — признак явный: предвидится встреча с фрицами...

Танки начинают урчать тише и сбавляют ход, мы идем напряженно: вот-вот раздадутся выстрелы и начнется бой...

Тянется время, а впереди все тихо. Проходит еще час, другой, третий... Неужели — утро?

Молчаливый марш дает о себе знать — я начинаю пошатываться, голова идет кругом. С трудом передвигаю ноги, еще немного, и я упаду. Я почти сплю на ходу, все внутри меня цепенеет...

Но я иду и... не падаю. Мало-помалу тяжесть сваливается со спины, яснее голова. Уф, кажется, очухался. Смотрю по сторонам: рассвело! Да и вообще что-то изменилось в обстановке, танки убыстрили ход, а мы постепенно отстаем и отстаем... Вот танки повернули и скрылись из глаз за стволами берез. Когда мы достигаем развилки дорог, танков уже и след простыл. Фрицы, видно, поспешно отступают.

Сутки восьмые.

Еще одна деревушка без жителей — безымянная. Но это для нас, солдат, она безымянная, у командиров на картах каждая обозначена своим именем. Впрочем, мы и не пытаемся, какая это деревня, нас больше интересует, есть ли в ней немец и как его вышибить.

В этой деревне его нет. Драпанул.

Отдыхаем часа два, обедаем. Правда, сухим пайком, но обед сегодня особый: старшина на этот раз ухитрился выдать нам не только сухари со шпигом, но и по 25 граммов спирта.

Куртка на пленном измятая и грязная, но не очень заношенная, плотно облегает высокую тощеватую фигуру...

Лицо у немца молодое, нос хотя и горбатый, но не орлиный, не гордый, а какой-то уныло-вислый.

Стоит без шлема бывший гренадер, волосы у него — цвета соломы, патлы упираются сзади в воротник, свешиваются в него. Лицо в крупных веснушках.

Ариец!

Стоят наши вокруг и молча смотрят на пленного: он пока единственный...

Вдруг подбегает пожилой солдатик и что-то невнятно и быстро говорит фрицу. Видимо, он страшно озлоблен и пытается поддать пленному ногой в живот. Тот, изогнувшись, отстраняется, и удары не достигают цели...

В кругу — ни слова. Солдатик замечает наше молчание и понимает, что это осуждение. В сердцах плюет на снег и отходит в сторону. У него немцы убили родных.

Этот немец не сдался в плен добровольно, его схватили в стогу сена.

Сутки девятые и десятые.

Река Луга. Вечером выходим на пологий берег. Левее, на той стороне реки, темноту прорезает зарево, поэтому весь снег перед нами окрашен розовым.

Мы готовы к броску, стоим на холодном порывистом ветру. Где-то невдалеке строчат два немецких пулемета.

На снег устанавливают «максима», он будет нас поддерживать во время атаки. Пулеметчик, став на колени, долго возится с лентой. Наконец, пулемет готов к стрельбе. Комроты дает команду. Мы срываемся с места и бежим по льду.

Строчат немецкие пулеметы, светляками мелькают трассирующие пули. А мы бежим, ни на секунду не останавливаясь, потому что сзади слышим скороговорку родного «максима».

Вот и берег Луги. Он уже наш.

...По правую и левую сторону дороги густо чернеют на снегу спутанные спирали «колючки», где-то она сплошная, сплелась, но имеются и прогалы. Что это? Оказывается — отслужившая свой срок погранполоса.

Но мы проходим ее, как какую-то особую черту. По всему строю роты, словно искра, бежит быстрый, приглушенный, но оживленный разговор.

Эстония! Одно слово, а нас, солдат, бодрит. Дотопали-таки до нее, и самое главное — мы первые!

Сутки одиннадцатые и двенадцатые.

Шли ночь и утро. Теперь уже полдень, но мы идем и идем. О немцах — ни слуху ни духу. Вот это-то и плохо: дали им оторваться.



Пасмурно и тихо над десаами, над белыми оттаявшими полянами. Валенки кажутся пудовыми. А тропа вьется и вьется бесконечно. Я думаю только об одном: упасть бы сейчас на снег и полежать часа два.

Один из солдат впереди действительно падает.

— Передай ему винтовку! — говорит мне старший сержант, наш комвзвода, кивнув на растянувшегося вдоль тропы солдата с белым, как снег, лицом. — А сам забирай эту штуку!

Я смотрю на «штуку» — вороненый ствол противотанкового ружья, который наполовину ушел под снег, и не сразу соображаю, что мне добавляется одиннадцать килограммов!

Ко мне присоединяется напарник, который несет на плече другую половину ружья. На боку у него болтается противогазная сумка, битком набитая пэтээровскими патронами.

Он ругает своего прежнего напарника, того, который свалился на дороге. Оказывается, тот потерял от ружья одну деталь — шпонку, где-то в пути обронил в снег. И теперь можно, конечно, вставить ствол в ложе, но закрепить — нечем. И попробуй выстрелить из такого ружья! Теперь это уже не грозное ПТР, а просто дубинка.

— Так чего же мы тащим ее? — спрашиваю.

— Комвзвода велел, — поясняет напарник, широколицый и широкоплечий рязанец. — Вот, говорит, костыль, которым рельсы крепятся к шпалам, вставишь и будешь стрелять!

— А ты стрелял?

— Приходилось, когда шпонка была. А сейчас, как вставишь костыль, он болтается в дыре...

— Вот черт! Как же стрелять?

Рязанец не отвечает.

Стало темнеть.

Елочки вокруг низенькие — ниже пояса, торчат из снега вершинами-свечками. Лезем вверх на гребень. Переваливаем через него и идем вниз по покатоному склону. Без тропы — снегу мало, ноги не проваливаются.

Путь в темноте извилист и долог. Под валенками что-то начинает скрипеть. Всмотриваюсь — черное. Соображаю — холодные угли и головни! Мы шагаем че-

рез пожарище! А вот и кожух печи торчит — все, что осталось от избы. Немцы сожгли.

Теперь ясно: немцы близко. По всему чувствуется. И не я один это ощущаю. Вся наша рота взбодрилась и идет наступательно. Впереди различаются толстые стволы сосен, направо — черная тень оврага. Выходим на склон, и сразу комроты командует:

— Садись!

Наконец-то отдых! Усталость обволакивает меня. Но все-таки замечаю: командир уводит четвертую роту. Она словно растворяется в темноте. А мы, оставшиеся, неподвижно лежим и сидим на снегу.

Я закрываю глаза и, кажется, почти тотчас открываю их. Сразу не могу сообразить, что изменилось вокруг. Ах, вот что: светает! Значит, я все-таки вздремнул. Вон, под елочкой, на боку, дремлет и морячок. Спиной к нему — должно быть, Павел Григорьевич...

Как из-под земли вырастает передо мною связной.

— Пэтээровцы, вперед! Приказ комбата!

— Пошли! — толкаю я в бок своего напарника.

Мы соединяем ствол ружья с прикладом, на это нам хватает минуты, и идем за связным. Оглядываюсь на роту: все остались в прежнем положении.

Я вижу мостик через овраг. Не доходя до него, связной предупреждает:

— Рядом — река Нарва!

Нарва? Для нас это неожиданно. Так вот в чем дело? Та самая Нарва! Нет, то была крепость Нарва, а это река... Тогда были шведы, а сейчас — немцы. И сразу, как бы в подтверждение, что Нарва — это немцы, раздаются хлопки выстрелов и свист пуль.

Мы, согнувшись, бежим. Впереди силуэтом возникает кожух печи. Еще одна изба сгорела. Пули дробят кирпичи в пыль. Кто-то стоит за печью. Поворачивается лицом к нам, повелительно взмахивает рукой. Мы останавливаемся. Перед нами комбат. Смотрим на него во все глаза, потому что вон он какой наш комбат: в солдатской шинели, роста богатырского, неволью чувствуешь его силу!

— Ребята! — говорит он басом чуть хриплым, лицо с крупными чертами обращается к нам. — Давайте к обрыву! К соснам! Подавить немецкий пулемет на том берегу!

— Есть! — отвечаем и, пригнувшись, идем с ружьем к соснам.

От сосен к обрыву пробираемся ползком — тут открытый берег, и немцы могут нас заметить.

Осторожно приподнимаю голову из-за бугорка. Белое поле реки и противоположный низкий берег отсюда, с высоты, сначала кажутся как в тумане, потом различаю на реке лежащие вразброс черные фигурки наших солдат. Первые добежали по льду до половины реки и теперь лежат. Так вот где четвертая рота! Перевожу взгляд на берег: он весь изрезан траншеями. На ближнем изгибе ворочается что-то темное. Напрягаю зрение: две фигуры копошатся возле продолговатого, едва различимого предмета.

— Давай патрон, это пулемет! — азартным шепотом говорит лежащий рядом рязанец. Он уже установил ружье на ножки и открыл затвор.

Я подаю патрон, а сам смотрю на костыль. Проверяю рукой, до отказа ли он всунут. Проклятый костыль! Звякает затвор, ружье заряжено. Мы лежим, раскинув ноги. Рязанец целится. Я вижу сбоку напряженно прищуренный глаз.

Бах!.. Ружье подпрыгивает.

— Мимо! — со злостью говорит рязанец.

Я успеваю заметить, как на том берегу в траншее резко задвигались фигурки. Растревожил фашистов наш выстрел!

Очередь из пулемета прорезает воздух. Пули где-то выше нас ударили по соснам — сверху валятся сучки и хвоя.

— Давай скорее, пока не засекли! — рычит рязанец, шапка у него сползла на бок, дышит он рывками.

Подаю патрон. Он целится теперь долго, напряженно. Взрыв ударяет по голове, как молотом. Минуту я ничего не могу понять. Смотрю на рязанца, уткнувшегося головой между рук. Неужели убит?

Ружье свалилось на бок и лежит в снегу, затвор как-то странно вывернут. Вот так выстрел!

— Жив? — спрашиваю я у рязанца.

Он поднимает голову, смотрит на меня затуманенными глазами, одна щека обожжена порохом.

— Кажется, жив!

Он окончательно приходит в себя, смотрит на ружье и руки.

— Все! Отстрелялись! Ружье — капут!

— Вот проклятый костыль! — говорю я. — А что с пулеметом?

Мы приподнимаемся и глядим на немецкий берег.

Странно, но в траншее ни пулемета, ни фигурок не видно. Мы с рязанцем смотрим друг на друга...

— Вот проходимец! Утерял шпонуку! — раздражается вдруг руганью рязанец, вспомнив моего незадачливого пред-



шественника.— А нам бы сейчас только стрелять да стрелять в гадов! Ну, как теперь без ружья?

Рязанец хватается ружье, пробует открыть затвор. Не получается. Некоторое время мы молчим, собираемся с мыслями, потом переводим глаза в сторону берега: там, между стволов сосен, мелькают фигуры в шинелях.

— Идем! — говорит рязанец.— Здесь нам делать нечего. Пятая двинулась на лед!

Во время перебежки шальная пуля ранила рязанца в локоть. Перебита кость, рязанец скрипит зубами от боли, пока я перевязываю ему руку. Он сидит, прислонясь спиной к стволу сосны. «Прощай!» — говорю я и ухожу. Он устало глядит мне вслед и только шевелит губами.

Натавливаюсь на убитого. Забираю винтовку и подсумки. Вскоре обгоняю передовых наших солдат. После перебежки всматриваюсь вперед, туда, где понижается обрыв. Еще метров тридцать хода — и просвет, сосны кончились. Выемка. Здесь берег ниже. На секунду приостанавливаюсь, гляжу на открывшийся лед и на тот берег.

Немцы молчат... Как перед стартом, тягиваю воздух и... резко бросаюсь вниз по выемке, затем по круче.

Грохочет что-то позади, слева, справа. Ага, заметили, стреляют! Замечаю на склоне толстую сосну. Прячусь за нее. И сразу над головой в дерево — два удара!

Прыжок! Лечу вниз сломя голову. Прихожу в себя в какой-то яме. Маленький окопчик! Я в нем никак не вмещаюсь. Согнулся в дугу.

С бруствера летит песок, что-то трещит и лопаются. Понимаю: немцы лупят из автоматической пушки...

Сверху валится солдат и сразу отползает за лежащее бревно. Еще один скатывается вниз со сдавленным криком. Я хочу поднять голову, узнать, кто из наших, но немцы все еще бьют. От бревна летит щепка во все стороны. Слышно, как хрипит солдат. Вскоре хрип прекращается. Я спрашиваю первого солдата, укрывшегося за бревном:

— Жив?

— Жив,— отвечает он, и я узнаю голос морячка.

— А где Павел Григорьевич? Это не он..? — я имею в виду только что хрипевшего солдата.

— Нет. Его там, наверху, только что ранило. В грудь. Санитар перевязывает... А немцы, как видно, заранее по соснам пристрелялись!

Морячок вдруг умолкает, а я разом вдавливаюсь в окоп — над головой возникает вой мин. И тотчас они обрушиваются на сосняк. Слышится грохот, трещат ветви сосен.

Над обрывом разносятся стоны. Кто-то кричит:

— Санитар! Командира роты ранило!

Налет продолжается минут десять, затем наступает тишина.

— Как дела? — спрашиваю я морячка.

— Ничего,— отвечает он.

Я сижу на корточках в окопе, прячу голову за низенький бруствер.

Над нами пролетают мины и снаряды, рвутся над обрывом. Взрыв раздается рядом с нами, на спину сыплется песок.

Вскоре начинает валить снег. Он валит хлопьями, тяжелыми и сырыми. Вокруг темнеет.

Я разгибаюсь в окопчике и осматриваюсь. В двадцати шагах даже обрыва не видно из-за снега.

Вылезаю. Теперь можно не опасаться снайперов: немецкий берег — за плотной белой завесой. Подхожу к морячку, который сидит на бревне с закинутым на спину автоматом. Он оборачивается ко мне и говорит:

— Чего мы здесь? Пошли наверх, в роту.

— Так нам же опять сюда спускаться,— отвечаю.— Нет, уж я подожду. Роты все равно пойдут...

Морячок глядит в сторону и к чему-то прислушивается. Безветренный воздух доносит гортанные голоса немцев: некоторые слышны дальше, некоторые ближе.

— Вот гады! — говорит морячок.

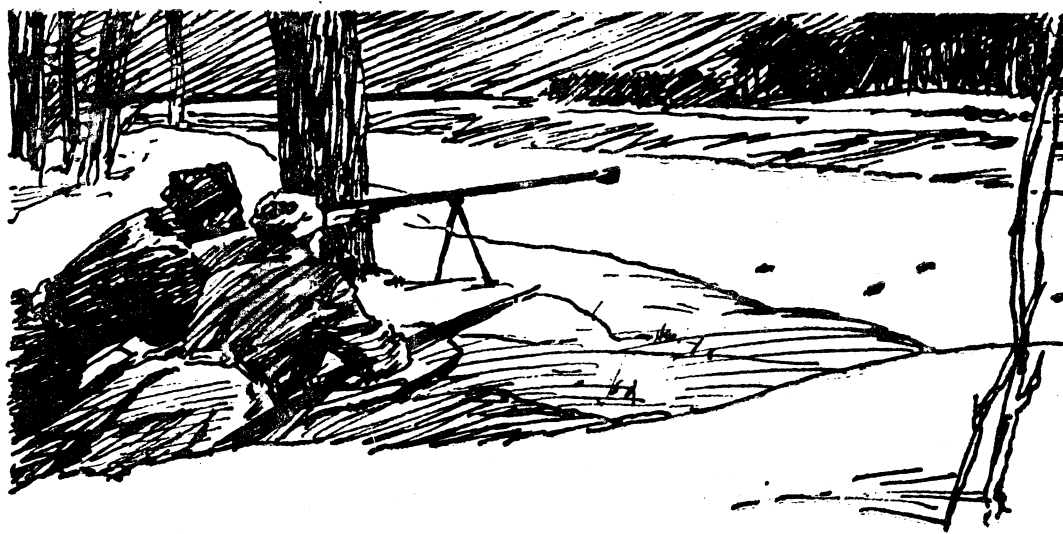
Я невольно хватаюсь за винтовку, но тут же опускаю ее — все равно из-за снега ничего не видно.

— Минируют,— говорю я.

— Может быть...— соглашается морячок и встает с бревна.— Пошли наверх, найдем комбата или еще кого-нибудь...

Он поворачивается и лезет на обрыв. Я смотрю, как он хватается за корень сосны, тот обрывается, но морячок, ругнувшись, успевает ухватиться за другой и оказывается на обрыве. Он выпрямляется, делает взмах рукой, должно быть мне, и исчезает.

Я стою в нерешительности. Тихо во-



круг, только чуть слышно шуршит снег...

Внезапно возникший вой кидает меня в окоп. Немецкие минометы бьют все по тому же сосняку над головой. Грохот разрывов, мне кажется, сильнее прежнего. Наконец, снова наступает тишина. Я еще не верю тишине и думаю, что вот по самой кромке берега, где я нахожусь, не ударил еще ни один снаряд!

«Быстро наверх! — решаю я. — Сейчас самый подходящий момент!»

И лезу на обрыв. Сразу же натыкаюсь на неподвижно лежащего морячка. Его чуть запорошило снегом.

Наклоняюсь, смотрю на белое запрокинувшееся лицо. Вот, ведь только что мы с морячком разговаривали!.. Медленно иду вдоль берега, между смутно видимыми стволами сосен, обхожу кучи срезанных снарядами веток. Снег, все такой же густой и мокрый, валит сверху. Иду вдоль берега. Вскоре замечаю одиночную ячейку, в ней — солдата.

— Ты один? — спрашиваю.

— Нет, рядом, в ячейке — сержант!

Подхожу к сержантской ячейке. Сержант уже увидел меня. Без предисловия говорит:

— Вот и хорошо. Нас теперь трое. До рассвета будем дежурить по очереди.

Сутки тринадцатые.

46 Уже рассвело. Падает реденький снежок. Перед глазами торчит узловатый корень сосны, а она сама тянется надо

мною в небо толстым шершавым стволом с темно-зеленой кроной. Слышна отдаленная пулеметная перестрелка. Отсюда из-за редких сосен плохо виден участок реки, откуда доносится стрельба.

Сержант, как и я, высунув голову из ячейки, прислушивается.

— Наши опять идут через Нарву!

— А мы чего тут сидим? — спрашиваю.

— Наше дело за берегом смотреть! — отвечает он и кивком указывает влево. — И оборону держать!

Приказание — явиться на КП батальона принес нам связной.

Солдат указал рукой направление — там тропинка, она и выведет, куда надо. А сам, прячась за сосны, пошел дальше вдоль берега.

Трое артрязведчиков в полушубках — их привел тот же связной — заняли наш окоп, он вполне подошел им для наблюдательного пункта.

Мы разговорились с артиллеристами, ребятами крепкими, по виду не новичками на передовой, упрекнули их: где же ваши пушки? Давно бы мы на том берегу были!

Они ответили: оттепель, на пути — болота, вот и застряли машины с орудиями...

Сначала мы пошли было в рост, но выстрел снайпера с того берега заставил

сразу же броситься в снег. До тропинки добирались перебежками.

Поляну нашли без труда. Она была всего метрах в трехстах от берега. Ее окружали высокие ели. Возле самой раскидистой, на куче зеленого лапника, сидел старший лейтенант в шинели, шапке-ушанке и курил. Он был коренаст и плотен. На лице от переносья до скулы виднелся шрам.

Сержант начал докладывать, но старший лейтенант только окинул его взглядом из-под широких светлых бровей и кивнул на два стоявших в стороне термоса.

— Подкрепляйтесь! — и выпустил изо рта кольцо дыма.

Мы садимся вокруг термосов. Макароны жирные и вкусные. Запиваем их сладким чаем, который наливаем в крышки алюминиевых котелков.

Я осматриваюсь. На КП, кроме старшего лейтенанта, человек тридцать солдат и сержантов. Все сидим или лежим на лапнике. С нами еще две девушки-санструкторши. Выходит, здесь медпункт.

Я обращаю внимание на винтовки и автоматы, сложенные среди поляны на снегу. Оружие осталось от раненых, которых направили в медсанбат.

С поляны медленно уходит дневной свет, снег сереет, сгущаются тени под деревьями. Наконец, старший лейтенант отдает приказание: проверить оружие, пополнить запас гранат.

Когда в лесу становится совсем темно, старший лейтенант негромко бросает: — Пошли! — и выходит на тропу первым.

Мы идем за ним гуськом. Командир ничего не объясняет нам, но и так ясно: тропа ведет к берегу.

После многих поворотов среди леса мы замечаем впереди просвет и выходим на поляну. Она огромная, со следами артралетов: некоторые деревья стоят со срезанными вершинами и без ветвей.

Мы останавливаемся. Справа от нас, в углу поляны, несколько солдат маскируют противотанковую пушку.

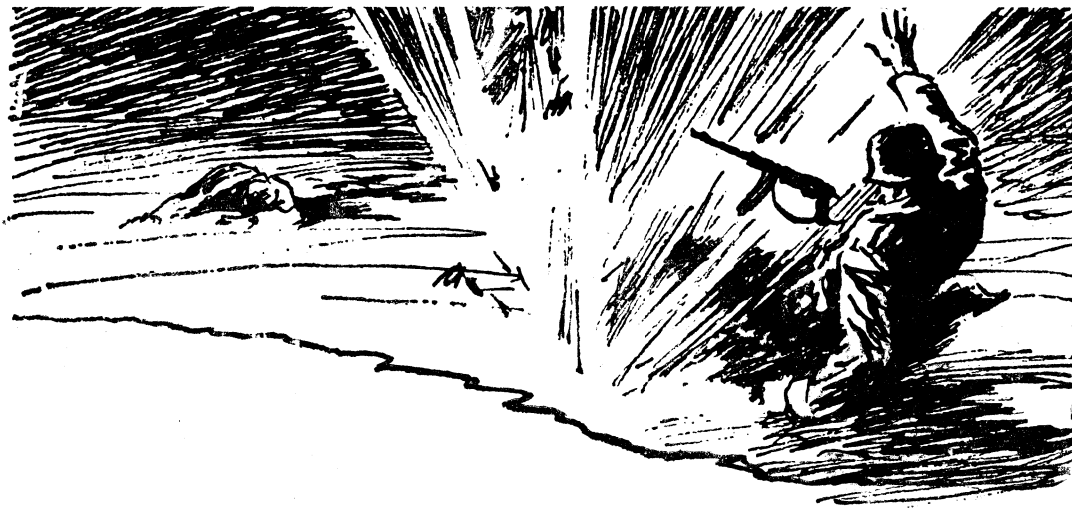
— За мной!

Старший лейтенант ловко валится на тропу и ползет. Мы — вслед за ним. Впрочем, мы не ползем, а скользим вперед, так как тропинка представляет из себя ледяное корыто, отшлифованное еще до нас, видно, не одним десятком солдат.

Мне кажется совсем ненужным перебираться через поляну ползком, ведь немцы нас все равно с того берега в темноте не видят, но я скоро убеждаюсь в предусмотрительности командира.

Смерть пролетает совсем низко над нашими головами в виде разноцветных блестящих пунктиров. Стук пулеметов доходит после.

Стрельба длится минут пять, заставив нас прижаться к земле. Когда она кончается, мы прямо-таки летим по тропе.



Вот и берег, тропа обрывается, а дальше — темнота, провал, там река.

— Спускаться тихо! — предупреждает старший лейтенант и первым лезет с обрыва.

Цепляясь за корни, осыпая песок, мы торопливо спускаемся по крутизне на лед. Останавливаемся возле стоящего командира. Немцы не стреляют.

— Все? — тихо спрашивает старший лейтенант.

Мы молчим. С обрыва — ни звука. Я вижу белеющее в темноте лицо старшего лейтенанта. Потом он поворачивается и снова говорит:

— За мной! — и с места срывается на бег.

«Вот, теперь ясно, какая наша задача, — думаю я и бегу вслед за командиром. — Атаковать на том берегу немцев. И при этом неожиданно».

Трассирующие пули разрезают вокруг меня темноту, и я сразу ложусь на лед. Слышу, как другие солдаты еще бегут, шаркая валенками, потом ложатся, снова вскакивают. Обгоняют меня.

Тырр! Тырр! Мне понятно, немцы бьют не в нас, а просто ведут отпугивающий огонь, как обычно это делают.

Вскакиваю и бегу долго, чтоб нагнать командира. Лед здесь совершенно ровный, ни бугорка, ни ямки.

Вероятно, мы добрались бы до того берега без помех, если бы случайная

пуля не ранила одного солдата. Он вскрикнул — и тотчас трассирующий ливень обрушился на нас. Две пули пробивают полу моей шинели, обдают ветерком. Я бросаюсь на лед.

Немцы усиливают огонь. Теперь пули летят с двух сторон.

Старший лейтенант — я слышу его голос впереди, в темноте — отдает приказание:

— Ребята! Броском вперед!

Я выхватываю гранату из кармана, ловлю промежуток между очередями пулеметов. Вскрываю и бегу. И замечаю, что делаю это вместе с другими. Мы стараемся скорее ворваться в траншею врага.

Вдруг тупой и сильный удар в правое бедро останавливает меня на полном ходу. Падаю... Пока нет боли, и я не могу еще понять, ранен ли я на самом деле.

Я ничего не могу сообщить о судьбе бежавших по льду Нарвы товарищей. Но знаю: немцы были выбиты из траншей, и за рекой вскоре появился плацдарм.

Раненый, я попал на излечение в госпиталь в Ленинграде, а, отлежавшись, снова весной был на фронте и на том же Нарвском направлении. Однако теперь я оказался среди новых людей — истребителей танков — и в другой обстановке. Об этом потребуется и рассказ особый.





В. СТАРОВ

СИГНАЛ ПЕТРОПАВЛОВКИ





*Гравюры
Спартака Киприна*

Из серии
«Урал первых пятилеток».



В. СТАРОВ

КРЕСТЬЯНСКИЙ БУНТ

УРАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ

Т. ЕФИМОВА

Причина неизвестна

Нет ничего более волнующего для конструктора, чем момент испытания новой машины.

И вот настал этот момент!

У стенда тесно, хотя здесь нет и трети всех, кто желал бы здесь быть, — потому что желает все конструкторское бюро. Конструкторы как-то трогательно проявляли внимание друг к другу, каждый старался уступить другому свое, более удобное место, и все вместе пристраивались поближе к высокому человеку в черном долгополом пальто и черной плоской кепочке.

А фотокорреспонденты человеком в черном пальто — главным конструктором Михаилом Михайловичем Ковалевским — были недовольны. Он обманул их ожидания — по всем правилам Главному полагалось быть более фотогеничным. Фотокоры оживились только тогда, когда на стенде появился Яхнис со своим стетоскопом.

— Зажечь факел! — У подножия стенда командна едва слышна. Только по взмаху руки Яхниса зрители догадались: началось. Турбина запущена!

Но никто еще не поздравлял друг друга, не пожимал рук. Все только улыбались и говорили враз — у подножия стенда в рядах конструкторов стоял гул одобрения. А на стенде ровно, хотя и шумно, дышало их детище. Турбина благополучно набирала обороты.

После успеха первых дней испытаний газовой турбины в конструкторском отделе царил праздник. К стенду бегали каждый день — радоваться на отличное поведение машины. Тогда же на одной из чертежных досок появилось черным по белому: «Чихать мы хотели на Риса!» О Дейче вспоминали осторожнее — его предсказание еще могло сбыться, еще неизвестен был окончательный коэффициент полезного действия. Но никто уже не сомневался в том, что создана вполне работо-

способная машина. Наступило затишье — время ожидания первых поломок и хрупкой надежды, что они не будут слишком серьезными.

Яхнис правил на стенде. Яхнис был первым человеком. Делегаты из Одессы, Калуги, Киева прибыли почти одновременно, и все — к Яхнису. Он был гостеприимен, у него работа ладилась, настроение — отменное. Таким же было настроение и у других конструкторов. Не то что раньше, когда в их поведении сказывалась какая-то напряженность и, пожалуй, даже обидчивость.

То были худые времена для отдела. Проект новой машины был готов, но его принципиальные положения подвергались сомнению. Рис, бог расчета, крупный специалист отечественного турбостроения, высказал сомнения в жизнестойкости проекта вообще, а Дейч, бог теории, профессор Московского энергетического института, усомнился в проектном коэффициенте полезного действия. Директор завода, узнав о таких отзывах, высказался за то, чтоб «не отливать ошибку в металл».

Хорошо, что все обошлось как нельзя лучше. Машина работает, характеристики дает приличные, и даже гости из институтов и родственных заводов не скупаются на похвалы. Когда директор жал руку Ковалевскому — вот был момент! — все, кто при сем присутствовал, переполнялись чувством удовлетворенной мести, хотя в глазах директора по-прежнему сквозило недоверие к машине.

Машинка работала. Обнаружились кое-какие недостатки и просчеты. Яхнис оперативно разделялся с ними. Паломничество конструкторов к стенду окончилось — праздник прошел, на смену ему спешило рабочее нетерпение: пора было систематизировать результаты испытаний и вплотную приниматься за новый проект более мощной газовой турбины — родственницы этой, первой.

Испытатели тоже закружились. Девять месяцев они не покидали своего поста, и вот остались последние несколько десятков часов. Правда, это были еще не официальные испытания, они шли не на газе, а на жидком топли-

ве. Турбине предстояло в будущем совершить далекое путешествие в Новгород и там, на специально оборудованной станции, еще раз доказать свою жизнеспособность. Сомнения больше, однако, не мучили никого — машине можно доверять, чего там...

Но... пришел еще день — чуть ли не накануне окончательного «останова» турбины. На стенде еще оставался кое-кто из приезжих. Они стояли в стороне, болтая, ожидая очередного запуска. Яхнис и машинист — у турбины.

— Не зови их, — сказал Яхнис машинисту, — выйдем на режим, тогда пусть смотрят.

Зажгли факел — включилась камера сгорания, ротор сделал первые обороты... И вдруг в привычном мерном шуме появился шелест, как будто фольгу кто потрогал. Или, может быть, это был едва уловимый звон, во всяком случае, что-то легкое, вроде неопасное для такой большой машины. Но Яхнис немедленно подал команду:

— Выключай!

Кривая потенциометра взвилась до двух тысяч градусов, показывая температуру внутри турбины. Но потенциометр часто врал. Яхнису хотелось бы не поверить ему и на этот раз. Откуда быть такой температуре, если с момента запуска турбины прошло всего несколько секунд? Яхнис хлопнул по стеклу ладонью — потенциометр упорствовал. Только он один еще и работал, стрелки всех других приборов дрожали, замирая у нуля.

Сталь обшивки машины была холодна. Ее без конца трогали те, кто ожидал запуска.

— Ты собираешься сегодня запускать или как?

Яхнис молча показал им на потенциометр. Они не слышали тихого шуршания фольги и потому в совершенном недоумении трогали теперь холодную сталь: ведь минуту назад все было в порядке... И у Яхниса такое непривычно растерянное лицо.

Наутро весь отдел газовых турбин был у стенда. Кран медленно понес в сторону многотонную скорлупу — верхнюю часть турбины... У турбинистов было много неприятностей, но не было такой горькой: уничтожено все лопаточное устройство, самая сложная часть машины! Так это лопатки из легированной стали шуршали фольгой, сгорая?

Как по пожарницу родного дома бродили конструкторы. В растерянных умах, естественно, мелькали воспоминания о предсказателях. И нашлись запоздалые умники, которые зашептали, что надо было делать и не то, и не так. Никто не работал, бродили и ждали. У Ковалевского, главного конструктора машины, которой столь не повезло, было непроницаемо-спокойное лицо — он работал с материалами комиссии, доискиваясь до причин несчастья. А вокруг него тихо паниковали те, кому делать пока что было нечего: оставалось только ждать и паниковать. Вот в такой-то обстановке и родилось и пошло от одного к другому чье-то суждение:

50 — Причина неудачи машины? Может быть, причина неудачи в оригинальности ваших идей, Михаил Михайлович?

Главный конструктор и его заместитель были людьми одного возраста, обоим перешагнуло за пятьдесят, оба — превосходные специалисты, влюбленные в дело, а главное, в свою паровую турбину. Много общего... И все-таки тот факт, что они не ладят, не составлял тайны для всего конструкторского отдела.

Объясняли это так: у них разные стили. У них были разными и характеры также, и жизненный опыт, разными путями пришли они на завод. Но не это, а именно разность стилей, вернее, различие школ конструирования, к которым каждый причислял себя, было виновно в их разладе.

Ковалевский считал Бузина консерватором, а тот его — техническим авантюристом. Положение, которое оба они занимали в конструкторском бюро, однако, не позволяло этим людям бороться в открытую — единый коллектив отдела, общая работа требовали согласованности. Некоторое время они соблюдали эту свою вынужденную согласованность. Но очень недолго. Конфликт шагнул из кабинетов в бюро. Случалось, что днем какой-нибудь конструктор трудолюбиво вычерчивал, вызывал к жизни идею Бузина, а вечером накальвал на кульман чистый лист ватмана и опять работал столь же усердно, стараясь понять: что же такое идея Ковалевского? И он чаще всего видел перед собой два абсолютно разных решения одной технической проблемы.

Любопытно это явление — школы конструирования. Кажется, в мире конструкций, в котором все руководствуется едиными готовыми формулами, где за основу берутся типовые решения, привычные формы, где машины не изобретаются, а как бы составляются, кажется, в этом мире не может быть места для коренных разногласий в вопросе о том, какой должна родиться та или иная машина. А оказывается, нет, существуют даже различные школы конструирования! Как существуют вообще в истории развития техники два пути: эволюционный и революционный.

Ковалевский однажды рассказал, как он «нанимался» к Бузину на работу, а тот его не принял. Бузин же, когда ему кто-то передал эту, рассказанную Ковалевским историю, начисто отрекся от нее: не было такого, и только. А скорее всего, не запомнил он первой этой встречи, которая произошла еще на Ленинградском металлургическом заводе в начале сороковых годов — Бузин и там был главным конструктором, создателем первых отечественных паровых турбин. А Ковалевский?

Он к тому времени прошел через Кузнецк, Магнитку, Турксиб... Строил, монтировал, а затем работал на эксплуатации паровых турбин на крупнейших электростанциях страны. Машины были старые, иностранные, неудобные, громоздкие. Своих почти не было. Ковалевского так возмущало несовершенство этих машин, он так ясно представлял себе желанную отечественную быстроходную турбину, а опыт эксплуатации подсказывал интересные конструктивные решения, что захотел сам приложить руки к ее созданию. Вот тогда он и уехал в

Ленинград, где наконец-то начало зарождаться отечественное паротурбостроение. Но главный конструктор Ленинградского металлического завода Бузин заявил категорически:

— Нет, к себе взять не могу, попробуйте устроиться в цех, — он смотрел на просителя через его анкету. И он не хотел рисковать и брать в отдел специалиста, над которым, возможно, будет тяготеть столь длительный опыт эксплуатации именно иностранных машин. Свои, отечественные, быстроходные — вот какой была задача его конструкторского отдела.

И вот спустя пятнадцать лет уже Ковалевский обвинял Бузина в пристрастии к старому опыту. И было это не в Ленинграде, а на Урале, на Турбомоторном заводе.

Ковалевский требовал работать смелее, создавать новые проекты, не оглядываясь на родственные заводы.

Бузин сделал своим кредо безошибочность. Медленно, но зато без срывов наращивая мощности паровых турбин.

Ковалевского привлекали эксперименты, он порой выдвигал такие решения, которые не поддавались точному математическому расчету. Он видел в таких отступлениях «будущие большие выгоды». Видел самостоятельные, отличные от ленинградских проекты. Ковалевский понимал само слово «проект» буквально, так, как оно переводится с латинского, — «бросок вперед».

Выбор

Случилось так, что завод в какой-то год вдруг оказался лишенным большей части своих основных заказов — паровых турбин. Велись разговоры даже о сокращении штатов. Но это слишком тяжелое дело, неприемлемое для завода. Расстанься он с частью тех же квалифицированных рабочих, где их потом возьмешь?

Директор Турбомоторного стал москвичом, стучался во все двери — хоть какой-то заказ надо было перехватить, хоть временный. Вернулся на завод торжествуя. Собрал специалистов, сообщил:

— Будем делать газовую турбину по чертежам Невского завода.

По чужим чертежам никто не любил делать: хлопот много, славы никакой. Чи-то огрехи исправлять, приравниваться к незнакомому производству. Делать машину, за которую не переболел, не сроднился с которой, — кому надо?

Собравшиеся в кабинете директора хоть и молчали, но каждый мог бы сказать именно так.

Бузин думал: что ж, пусть по чертежам Ленинградского Невского... И потом турбина все-таки.

Это, между прочим, было общей мыслью. Это утешало. В памяти жили худшие времена, когда заводу приходилось осваивать уж совершенно несвойственную продукцию, вроде комбайнов для сельского хозяйства.

В общем, совещание у директора вынесло твердое решение: надо — будем делать!

Но предстоял еще один разговор — уже в кабинете главного инженера завода. И тоже надо было принимать нелегкое решение. Главный инженер вызвал обоих — Бузина и Ковалевского. Он сказал, что дает им право выбора, потому что видит: работать им вместе в отделе паровых турбин трудно, вряд ли газовая машина получит какое-нибудь развитие.

Бузин насунился. Слишком много отдано паровым турбинам. Вся его жизнь. Он был участником зарождения и развития паротурбостроения в стране. В бытность на Металлическом заводе в Ленинграде его заслуги отмечены были Государственной премией.

Дважды лауреатом Государственной премии стал Бузин и на Уральском турбомоторном заводе. В своих машинах он продолжил начатое в Ленинграде.

Главный инженер ждал от Бузина ответа и видел, что для того предложение оставить кому-то паровую турбину и заняться газовой не только не подходит, но просто оскорбительно. И главный инженер обратил свой взгляд на Ковалевского.

— Тогда, может, вы?

— Ну, что ж.

Согласие есть согласие. Каким бы оно ни было, главный инженер почувствовал, что основная трудность позади, и с облегчением обратился к рабочим вопросам: где разместится отдел газовых турбин, как будет с кадрами, с производственными площадями.

Выяснилось, что завод может дать новому главному конструктору, Ковалевскому, очень немного. Надеяться ему предлагалось только на будущее.

— Вот получим от строителей новый инженерный корпус — второй этаж ваш. А с кадрами конструкторов тяжело... На молодых специалистов заявки, конечно, разошлем, но из кого сложится костяк нового отдела?

Даже не взглянули друг на друга Ковалевский и Бузин, молча встали, молча попрощались с главным инженером.

Собственно, их конфликт как будто терял почву, уходил в прошлое. Бузин оставался со своими паровыми турбинами. Ковалевскому же предоставлялась возможность воплотить свои конструкторские идеи в новой машине. Но с кем? Кто пойдет с ним, вернее, за ним, в ком оставила след его мечта о новых, самостоятельных проектах, в которых чувствовался бы свой, уральский стиль, отличный от стиля, скажем, ленинградских заводов или фирмы Вестингауз? Заронил ли он в кого свое, ковалевское: конструирование — искусство, настолько же высокое, как искусство скульптора или композитора?

Убрать ли усик?

Про судьбу Ковалевского никак не скажешь, что она «складывалась», как это обычно принято говорить; нет, он сам ею управлял: складывал, изменял и начинал сначала, если считал нужным.

В молодости это давалось, правда, легче.

Все легче в молодости. Но когда минует полвека, не так-то просто становится обрывать корни крепко вросшего дерева. А Ковалевский оборвал.

Молодежь всегда притягивало к Ковалевскому какое-то родство душ. В свои пятьдесят пять он так и не обрел приличествующей возрасту солидности и был не «шеф», как, скажем, Бузин, а «Мих. Мих.», как называли его за глаза конструкторы.

И вот за этим человеком, пожилым по годам, но вполне молодым по духу, пошла в основном именно конструкторская молодежь. Конечно, ей импонировал прежде всего сам Ковалевский, но было и другое решающее обстоятельство.

Паровая турбина стала уже открытой технической «землей». Уже появились в отделе так называемые узкие специалисты — по диафрагме, по пароперепускным трубам, по цилиндрам... Это деление становилось все жестким, а молодые, как всегда, колебались в выборе своего места. Опыта у них было не так уж много, зато жадности хоть отбавляй — им бы всю турбину целиком! И то попробовать, и в этом поковыряться... Но паровая турбина уже не допускала такого «несерьезного» отношения. А о газовой машине техническая энциклопедия еще недавно сообщала: «На решение проблемы газовой турбины затрачена громадная умственная работа, принесены также громадные финансовые жертвы, но пока не достигнуто никакого практического результата». Машина Невского завода была только самым первым практическим опытом. Так могла ли не увлечь любого молодого конструктора мысль о возможности поставить здесь свой колышек, застолбить свой, никем не тронутый участок? Неудивительно, что многие из них быстро навестили лыжи в сторону газовой турбины.

Ковалевский был рад каждому новому человеку, но слишком многие из тех, с кем он хотел бы работать, не шли. Он понимал их, сам ведь любил паровые машины, но не мог смириться — с кем же ему начинать? Останавливал часто при встрече симпатичных ему людей, говорил, прямо глядя в глаза: «А я мечтал с вами поработать». И при этом осознавал некоторую ложность своего положения — он звал инженеров создавать какие-то новые, интересные, смелые проекты, а начинал-то с чужой машины, с чужих чертежей, без определенной перспективы. Только прямой взгляд его живых глаз говорил: «Верьте мне!» Но чему было верить? Разве только от Ковалевского зависело будущее нового отдела?

К огорчению одних и удовольствию других из расчетного бюро паровых машин в отдел газовых вдруг перешел Жора Проскураков. О, это было ценное приобретение для газовиков, ничего не скажешь. Жора обладал всеми качествами талантливого расчетчика, будущего кандидата наук. Он был в работе точен до дотошности и невероятно серьезен, хоть это и плохо вязалось с его внешним об-

ликом. На доброе веснушчатое лицо Жоры, казалось, сама просилась такая же добрая улыбка. На работе он улыбался, однако, редко, и даже казалось, что Жора вообще лишен чувства юмора. Зато в минуты отдыха, особенно на дружеских вечеринках, Жора с легкостью опровергал такое мнение.

Однажды он две недели «кинул» на то, чтобы выяснить: убрать или не убрать усик — пустячное, как думали, уплотнение в турбине. Ходил, курил, считал и высчитал со скрупулезной точностью вред, который будет нанесен машине, если ликвидировать усик, как того требовал конструктор. И наложил свое вето. В машине для Жоры не было мелочей.

Даже когда прошло много лет с тех пор, как Жора Проскураков стал преданным газовиком и защитил диссертацию, в отделе паровых турбин бытовала профессиональная шутка: «Ну как, убрать или не убрать усик?»

Неясно было, почему все-таки Жора расстался с паровой турбиной? Простора ли захотелось, будущая ли диссертация подавала голос... А может, просто пронизательным оказался Жора?

Ведь развитие экономики и техники уже создали условия для появления газовой турбины.

Ну, а другие инженеры?

Борис Соломонович Ревзин, будущий заместитель Ковалевского, еще в институте защитил диплом по аэродинамике газов. Работая в отделе паровых машин, он одновременно увлеченно трудился и над проектом небольшой газовой турбины, которая использовала энергию газов от сжигания... опилок. Это был неофициальный заказ одного из леспромхозов Свердловской области. Бузин так и не одобрил этот проект, хоть и не запретил — уж он-то навсегда остался однолюбом.

Чего не знал директор

К этому времени Невский завод сделал первый крупный шаг в новом направлении. Созданная им газовая машина решала главную задачу — не нуждалась в воде и котельных установках. Она совместила в себе достоинства паровой турбины и двигателя внутреннего сгорания. Топливо сжигалось в машине, а продукты сгорания в смеси с воздухом приводили в движение вал турбины.

Вот эта невсякая машина была единственной в стране, когда Ковалевский принял дела пока не существующего отдела газовых турбин. И как же он повел себя, когда познакомился с чужими чертежами? Машина не показалась Ковалевскому симпатичной — она была слишком громоздкой, массивной, с корпусом из дорогих сталей. В ней не было легкости, гармонии — этих внешних признаков «здоровья» машины. Кроме того, он понял, что тот, кто делал эту газовую турбину, и душой оставался паровиком — это заметно было при знакомстве с особенностями конструкции. Да, Ковалевскому машина была не симпатична. И тем не менее, завод приступил к изготовлению ее первого образца.

Есть два типа конструкторской работы и два типа конструкторов: одни получают проект готовым и более или менее хорошо делают с него рабочие чертежи. Может быть, они, избрав в жизни для себя конструкторский труд, изменили своему призванию и потому их истинные способности остались неразвитыми? Может быть, но это, пожалуй, чересчур жесткое заключение по отношению к тем, без кого ни одно конструкторское бюро не обходится и никогда не обойдется. Выпуск рабочих чертежей машины требуют много сил, сосредоточенности и отличной техники исполнения, так что сам по себе этот труд может приносить удовлетворение человеку.

Но в любом конструкторском бюро есть люди, которых не устраивает только разработка чужих идей и проектов. И оригинальность, смелость, значительность продукции, поставляемой конструкторским бюро, зависит именно от них.

Ковалевский не уставал повторять: «Конструкторская работа — это вовсе не выпуск чертежей изделия. Это творческий процесс, начинающийся с первоначального замысла, иногда неясной еще идеи и продолжающийся при изготовлении и испытаниях головного образца».

Новый главный конструктор явно был равнодушен к летучим и непринужденным дискуссиям с молодыми инженерами об искусстве конструирования. Дискуссии будили мысль, зароняли добрые зерна. Отдел почти полностью был загружен работой над чужими проектами, однако новые идеи, возникающие в ходе дела, тщательно обдумывались, сортировались и хранились до времени. Если у кого-нибудь появлялась стоящая, как он думал, идея, он немедленно нес ее к Ковалевскому. Главный конструктор принимал или отвергал. И мог через неделю подойти к тому, кого жестоко разгромил, и сказать: «Пойдемте-ка ко мне, в той вашей идее что-то есть».

Многие и не подозревали, что люди, до сих пор конструировавшие только паровые машины, задались целью не только создать свой, уральский проект газовой турбины, но и сделать его непременно лучше неевского. Не подозревал этого и директор.

— Новый проект... новый проект. А по какому это праву вы загружаете людей такой работой? — едва сдерживаясь, выговаривал он Ковалевскому.

— Мы не превышаем фонда зарплаты. И потом, любой конструктор всегда должен видеть перед собой какую-то перспективу, иначе он не будет расти. — Ковалевский отвечал, угадывая в общем-то, что директора проблема перспектив в данном случае не интересует.

Позже директор резко заметил главному конструктору, что тот якобы высказывает в Москве слишком независимое и субъективное мнение о производственных возможностях завода. Ковалевский отрицал это.

Как было в действительности, сказать трудно. И вряд ли нагрянувшее государственное задание на новый проект газовой турбины было прямым следствием самостоятельности Ковалевского. Скорее чрезвычайные обстоятельства сыграли здесь свою роль.

Поскольку первая газовая машина Невского завода, изготовленная Турбомоторным заводом, оказалась неудачной (это стало очевидным после первых же испытаний), встал вопрос: заказывать газовую турбину за границей или срочно проектировать, осваивать и запускать в производство еще одну отечественную? Было принято решение — проектировать. Теперь Турбомоторный завод и Ленинградский Невский становились соперниками. Оба почти одновременно приступили к разработке новых проектов.

Проверка стульями

Некоторая праздность в отделе, обилие разговоров и теснота в курилке — это все от того, что конструкторы, даже не признаваясь себе, томительно ожидают окончания Жоринных расчетов. Дело в том, что новый проект газовой машины недавно побывал на отзыве у Дейча, профессора Московского энергетического института. И тот высказался весьма отрицательно. Буквально: «Даю голову на отсечение — с такого проекта не натянуть больше, чем пятнадцать процентов к. п. д.». Вот почему Жора Проскуряков схватился за голову и засел за перерасчеты.

Зато Ковалевский к прогнозу Дейча отнесся спокойно и занялся доводкой проекта. Может быть, просто старался экономить силы — ведь предстояла защита проекта, а с нею дебаты и нервное напряжение.

Снова и снова склоняется Ковалевский над чертежами. Под некоторыми еще нет даже его подписи. Вот, например, рама маслобака... Что-то в ней вызывает его сомнения. Не решение в целом, нет, оно как раз кажется ему даже остроумным: конструкторы сделали раму — основание турбины, которая одновременно служила маслобаком, и разом отсекли всю сложную систему труб, применявшуюся в газовой машине Невского завода. Прекрасное решение, но зрительно главный конструктор ощущает в чертежах какую-то неточность. Он ее чувствует, эту неточность, и просит вызвать автора чертежа.

— У меня небольшой вопрос. Вы уверены, что рабочий сумеет пролезть между стенками корпуса, если ему понадобится протереть отсеки?

Конструктор молчит, по его растерянному лицу видно, что он об этом не думал.

— Ну как же так? — Ковалевский не выговаривает, не читает мораль, а почти обижается. — Как же вы не подумали о машинисте или, скажем, о ремонтниках, — в главном конструкторе явно жив бывший эксплуатационник. Живому воображению Ковалевского ничего не стоит представить, что он сам, чертыхаясь и поминая недобрым словом конструктора, с трудом протискивается между стенками корпуса маслобака...

Ковалевский решительно сдвигает стулья, точно устанавливает между ними размер, указанный на чертеже маслобака. Кряхтит и... пролезает. Пролез, стряхнул пыль с колен и, обращаясь к совершенно смущенному конструктору, произносит:

— Ну вот, видите, вы чисто случайно положили правильные размеры. Но в следующий раз, пожалуйста, будьте внимательнее. В конце концов самую правильную оценку дают нашей работе именно эксплуатационники.

Алгебра гармонии

Гармонии Ковалевский придавал перво-степенное значение и, когда представленный конструкторами вариант ему не нравился, сердился: «Разве вы не замечаете, что это некрасиво?» А если ссылались на расчетчиков, что «они подтвердили», отвечал: «Значит вы дали неправильные исходные данные».

Чаще всего он оказывался прав. Его интуиции можно было доверять.

Главный был убежден, что не все в современной технике решается формулами, таблицами, типовыми приемами. На самом деле весь огромный накопленный материал — теоретический, опытный, конструкторский — служит в сущности только для нахождения частных решений.

Но какие принципы положить в основу проекта, какую форму придать будущей машине, как лучше удовлетворить всем технико-экономическим, технологическим, эстетическим и многим другим требованиям — все это решается чутьем конструктора, его искусством.

В официальных кругах, в разговорах с заказчиком газовики не говорили конечно: «Мы предлагаем вам гармоничную машину». Звучало это гораздо сдержаннее и техничнее: блочный вариант.

Стремление к блочности выдвинуло идею перемещения подшипников ротора внутрь турбины. Это было непривычно и даже со стороны заводских специалистов еще на предварительной защите проекта встретило возражения. Конечно, спокойнее работать, когда можно даже на ощупь измерять температуру подшипников, когда они снаружи, как, например, в невской машине. Долгое время инженерная мысль шла именно по этому направлению, стараясь приблизить капризный подшипник к рукам ремонтника. Но Ковалевский в данном случае пошел даже против желания ремонтников. Его конструкторы засунули подшипник внутрь, где циркулируют горячие газы и температура достигает 750 градусов. Этим они сократили длину машины сразу на метр-полтора, но зато им пришлось повозиться с новой, более мощной системой охлаждения.

Было и еще много смелых решений в проекте. Отдел шел самым трудным путем — к самостоятельному проекту.

Главный считал, что его конструкторскому бюро повезло на способные головы. Годом позднее, на торжественном собрании по случаю своего юбилея, он скажет:

— С таким коллективом я готов выполнить задание любой сложности.

Как восхитался Ковалевский, например, решением компрессора турбины, найденным Иштутиновым! Прототип его был взят с какого-то военного судна, отличался технологич-

ностью и высоким коэффициентом полезного действия, но мощности в нем не хватало. Иштутинов рискнул добавить в готовый компрессор еще одну ступень, разом увеличив степень сжатия воздуха и, следовательно, мощность. Затраты на такую переделку — минимальные, выигрыш — огромный. Шум поднялся вокруг проекта Иштутинова несусветный. «Необычно и странно» — это был самый мягкий отзыв о нем. Однако «странный» компрессор, реабилитированный расчетчиками, одобренный Ковалевским, был принят и украсил собой и без того отличавшийся смелостью и оригинальностью проект новой газовой машины Турбомоторного завода.

«Детский сад»

Желтый, даже на взгляд горячий песок и одинокие кусты саксаула — Каракумы. О них еще долго оставалось бы такое мнение, если бы не кладовискательское чутье геофизиков. Именно геофизики, появившиеся в пустыне, определили, что в ее недрах хранится сказочное богатство — газ.

Исполинская стройка, развернувшаяся в пустыне вблизи Бухары, вызвала интерес даже в... НАТО. Под нажимом НАТО фирмы ряда стран отказались выполнить контракты на поставку в СССР магистральных газовых труб. Наши газеты подробно сообщали о том, что последовало дальше. Вызов западногерманских фирм приняли челябинцы. Вся страна с волнением следила за строительством нового прокатного стана. Стан «1020» начал выдавать трубы для газовой магистрали Бухара — Урал даже на месяц раньше планового срока.

В это время в конструкторском отделе газовых машин Турбомоторного завода был завершен проект на новую турбину. Предназначалась она для той же магистрали Бухара — Урал, что и челябинские трубы.

Итак, проект машины, ее уральский вариант закончен. Стало известно, что готов и проект Невского завода. Теперь оба варианта должны были предстать перед государственной комиссией.

Трудный выбор предстояло сделать государственной комиссии. Перед ней оказалось два совершенно разных проекта газовой турбины. Но вернемся несколько назад, когда контуры уральского варианта еще только проступали и началось соперничество — иначе это не назовешь — Турбомоторного и Невского заводов.

Приведем сценку, в которой участвуют два действующих лица: Рис — руководитель расчетного бюро Невского завода, лауреат и член высоких комиссий, и Затковецкий — инженер-конструктор отдела газовых турбин уральского завода.

Был ясный солнечный день. Это Гена Затковецкий хорошо запомнил, потому что, ожидая, когда можно будет представиться Рису, он сидел у самых дверей его обширного кабинета и в лицо ему било солнце. Не через окно — через стену, которая была feita из стекла.

Рис говорил по телефону и не спешил уезжать, с чем прибыл к нему молодой Гена, он даже не знал еще, что тот с Урала, что...

— Да, ведь это же детский сад! — вдруг уловил Затковецкий восклицание Риса. — Бодрые ребятишки, дай, бог, чтобы только выжили...

И вслед за этой веселой и убийственной характеристикой, командированный с Урала инженер-конструктор Гена услышал также «имя» своего Турбомоторного завода и понял, что «детский сад» — не что иное, как его родной отдел.

Гена Затковецкий очень спокойный человек. Он только встал и ушел. Он не употреблял резких выражений, когда рассказывал на заводе о своей встрече с Рисом.

Товарищи даже не попеняли ему, что так неудачно закончилась командировка: мол, съездил, прогулялся по Ленинграду, ничего не привез. Наоборот, весь отдел был обижен обидой Гены. Так что разногласия между двумя заводами теперь приняли даже какой-то личный оттенок.

После аварии

Все это предшествовало тому страшному дню, когда Яхнис в привычном мерном шуме первой уральской газовой турбины уловил металлический шелест и закричал: «Выключай!» И почти сразу, как только стало известно об аварии, кто-то сказал: «А может причина неудачи в оригинальности идеи Ковалевского?»

Может быть, может быть... А ведь как настойчиво добивались воплощения в металле своего дерзкого проекта создатели газовой турбины. Надо было им, наверное, прислушаться все-таки к отзывам таких крупных специалистов, как Дейч или Рис, или хотя бы к трезвым голосам в своих рядах. Вот Иштугин изложил ведь свое особое мнение в личном письме в Центральный котлотурбинный институт. Не посчитался с тем, что выступает не только против своих коллег, но против проекта, в котором заложены и его, Иштугина, довольно-таки оригинальные решения. Пусть письмо не принесло результатов — не его вина. Конечно, он мог потребовать официального обсуждения изложенных в письме положений и не позволить «спустить все на тормозах», то есть свести дело к обсуждению в узком семейном кругу.

Правда, круг тот был предельно узок — всего несколько человек. Собственно, никто не назначал этого суда, да и проходил он втайне от Ковалевского.

— У тебя что, терпения не хватает подождать, пока машина дойдет до испытания? — укоряли судьбу Иштугина.

— Эта машина разлетится при первых испытаниях! — отбивался Иштугин.

И вот теперь его пророчество сбылось. Сбылось, когда испытания проходили даже не на газе, а на жидком топливе.

Но вот что примечательно. Когда разнеслась весть об аварии и подняла на ноги все

конструкторское бюро газовых турбин, каждый, восприняв неудачу, как личное несчастье, прежде всего подумал о главном: а как он? На нем скрестились взгляды — и сочувствующие, и вопрошающие, и любознательные.

В отделе полшутя-полусерьезно говорят, что Ковалевский только спустя полгода отреагировал на аварию. Но это было уже время следующей машины. Он вдруг разразился строжайшей инструкцией о том, чего нельзя и что можно делать испытателям при испытаниях. Параграфы и пункты так кричали об осторожности и бдительности, что в них совсем исчез было голос обычного, спокойно-демократичного главного конструктора. Потом, правда, Ковалевский и сам устыдился своей инструкции и, как будто оправдываясь, говорил:

— Я не требую выполнения ее буква в букву.

Такой была реакция главного спустя полгода после аварии, а в момент ее — он, надо сказать, отлично владел собой.

Через день после аварии стало известно, что причина ее самая нелепая: топливо попало внутрь турбины. Оно сгустилось где-то у золотника, и тот не сработал: ведь машина рассчитывалась на газ, а не на жидкое топливо. Впрочем, была установлена и вина конструкторов — они слишком увлеклись своими первыми испытаниями.

Когда причины аварии были найдены, сам Ковалевский не спешил уверять дирекцию, что они не в конструкции машины. С искусством прирожденного стратега и тактика, он начал обращать неудачу на пользу дела. Главный добился, чтобы изготовление новой лопаточной части турбины велось по измененным чертежам — эти изменения были подканы девятью месяцами заводских испытаний. Не будь аварии, недостатки появились бы в серийных турбинах. Так что, в самом деле, нет худа без добра!

Машина Турбомоторного завода предстала на государственных испытаниях в Новгороде в самом лучшем виде.

Соперницы

Уже год Невский завод «доводил» свою турбину на испытательной станции в Новгороде. Процесс доводки, по времени занимающий примерно две трети процесса создания работоспособной машины, — мучительная, головоломная работа.

Когда «команда» уральских испытателей во главе с Яхнисом появилась на новгородской станции, ей не составило труда определить, что доводка невской машины явно затянулась. Из-за множества мелких и крупных неполадок она не могла взять полную нагрузку. Ленинградские коллеги попали в незавидное положение человека, сражающегося с гидрой, у которой вместо отрубленной головы вырастает новая, а то и сразу две.

Уральцы, по правде говоря, ожидали иронических взглядов, профессионального любопытства. В действительности все пошло по-другому. Им позволили спокойно, без посторонних взглядов собрать машину. После этого на стэнд поднялся начальник испытательного

зала, худой, высокий человек и, смущаясь, сказал, что «придется подождать».

— Не могу подключить вашу машину к газу: по техническим условиям станции двум турбинам нельзя работать одновременно.

Приехал Ковалевский, тяжело обошел вокруг турбины. На заводе только что справили его шестидесятилетие. Сам он отметил свой юбилей вот этой машиной. В ней, он верил, заложено много такого, что смотрит в будущее. И это даст возможность создавать еще более мощные турбины. Какие из них ему удачи самому довести до стенда?

Главный конструктор уехал, не дождавсь, когда машину подключат к газу.

Яхнис, казалось, не уставал. Даже после многочасового дежурства на станции он улыбался и продолжал обхаживать начальника станции.

Комиссия по приемке невской машины продолжала заседать, когда свердловчанам дали газ. И вот первое зажигание всех камер сгорания. Первый выход на холостой ход. Наконец, попытка выйти на полную нагрузку. Она неудачна, и турбина остановлена ударом по красной кнопке на щите управления, похожей на гриб. Но это еще ничего не значит, ведь даже спортсмену даются несколько попыток. Снова включены пусковые насосы, контур заполнен газом, зажжены камеры сгорания. Машина набирает обороты...

— А все-таки она крутится, — весело говорит Яхнис.

Через сорок минут турбина взяла полную нагрузку в шесть тысяч киловатт, потом превысила ее, достигнув 120 процентов мощности от расчетной. Тут-то ребята шумно заговорили, вспомнив предсказания Дейча.

Глядя на их счастливые, молодые лица, начальник станции не выдержал:

— Вы не можете объяснить мне, что происходит? Три доктора наук и три десятка ведущих инженеров в течение года не могут «довести» свою турбину, а вы нажали кнопку — и в полчаса машина взяла нагрузку...

Главный инженер Турбомоторного завода Осипенко поднял широко расставленные руки, как бы обнимая турбину, и сказал:

— Пусть стоит, теперь ничего не трогайте до самой комиссии.

В день сдачи машины правительственной комиссии молодежная бригада испытателей Турбомоторного завода появилась у стенда ровно в восемь утра в парадной форме. В черных костюмах и белоснежных сорочках ребята выглядели именинниками. Впрочем, и машина, их детище, имела праздничный вид — она была выкрашена в светло-голубой цвет.

Пришли члены комиссии. Они задавали вежливые, но дотошные вопросы, всем интересовались. Наконец, машинист нажал кнопку «Пуск».

Правда, не обошлось без мелких неприятностей. Черные пиджаки вскоре пришлось развесить по стенду, рукава белых рубашек закатать повыше. Но какое это могло иметь значение, если комиссия признала машину хорошей, надежной и, как от себя ребята добавили, «конкурентноспособной».

В тот же день Яхнис телеграфировал Ковалевскому об успехе. А чуть позже отвел душу, составляя послание всему конструкторскому отделу: «Трубы трубят в древнем Новгороде, уральцам славу поют...»

С завода пришла ответная телеграмма. В ней Ковалевский написал от себя лично: «Горжусь такими сотрудниками!»

Вот и вся история об уральском варианте первой в Советском Союзе газовой турбины.





ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ

Демографы вычислили: в ближайшие 35—45 лет население земного шара должно удвоиться. Еще стремительнее растут потребности общества. Это видно хотя бы из того, что за последнее полу столетие из земных недр добыто различных металлов больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Вот почему люди все настойчивее пытаются проникнуть в глубь океана.

Дело не только в том, что три четверти поверхности нашей планеты лежат под водой. Гораздо важнее то, что во всем объеме Мирового океана, от поверхности до дна, вода насыщена соединениями таких металлов и элементов, как магний, хлор, железо, золото. Подсчитано, что если бы осуществить фантастический план полного извлечения солей из морей и океанов и равномерно распределить их по всей суше, то земля скрылась бы под сплошным соляным покровом высотой в 45 метров.

Грандиознейший биохимический процесс фотосинтеза растений на семь восьмых протекает в верхних толщах морской воды, а на суше только на одну восьмую. А фотосинтез — это основа жизни на земле. Особенно богат океан белковой пищей. Но что мы сейчас используем из даров океана? Рыбу? Но и ее улов едва достигает трех процентов от возможного.

Колоссальны почти не тронутые минеральные богатства морей и океанов. Под донным илом таятся неслыханных размеров кладовые нефти и газа. Об этом убедительно говорят разведки запасов природного газа под Северным морем, причем раздаются даже голоса за его осушение. Обнаружена нефть под Каспием, под Мексиканским и Калифорнийским заливами. А кое-что уже добывается. Так, в 1966 году у советского побережья Балтийского моря впервые начата подводная добыча ильменитового песка — ценного сырья для выплавки титана.

Океанографы установили, что дно океанов и морей нередко устлано сплошным слоем железомарганцевых конкреций. Это небольшие комки и лепешки руды, по-видимому, продукты жизнедеятельности особых микроорганизмов. В этих конкрециях кроме железа и марганца есть кобальт, никель, медь. И подсчитать

эти подводные запасы металлов просто невозможно.

Но чтобы овладеть этими богатствами, мало уметь опускаться на дно в герметических камерах или скафандрах. Акванавтам придется научиться подолгу там жить и работать.

Осуществление этой мечты не за горами. Задача облегчается тем, что нет особой нужды, во всяком случае в ближайшем будущем, осваивать дно океанических впадин, где давление доходит до тысячи, а то и более атмосфер. В ближайшие столетия достаточно людям овладеть шельфом — прибрежной мелководной зоной, которая некогда, до затопления, была частью суши. Именно здесь сконцентрирована основная масса пищевых и, возможно, минеральных ресурсов океана. А глубина шельфа, в среднем, всего сто метров.

Но чем дышать на дне моря? Воздухом?

История водолазного дела хранит немало скорбных страниц, связанных с кислородным отравлением. Кровоизлияния в легкие, отеки, поражения коры головного мозга, судороги — вот чем чревато кислородное отравление. А ведь кислород — главная часть воздуха, его «жизненный эликсир».

Вряд ли станет кто-либо всерьез утверждать, что обыкновенный воздух пьянит. Правда, в художественной литературе встречаются подобные утверждения, но это не более как метафора. Иное дело в воде, начиная с глубины в 40 метров. Здесь вдыхание воздуха, сжатого до четырех атмосфер и более, внезапно вызывает состояние, сходное с опьянением. Медики называют его азотным наркозом или глубинной эйфорией.

Стоит подняться ближе к поверхности, как наркоз сразу и бесследно проходит. На глубине же человеком овладевает беспричинное веселье и болтливость, ослабляется умственная деятельность и замедляются реакции.

Видный английский физиолог Холдейн, на себе испытавший в камере азотный наркоз, рассказывает: «Я бормотал бессмысленные слова, казавшиеся мне чрезвычайно глубокомысленными... Один почтенный член Королевского общества потратил пять минут на два примера умно-

жения четырехзначных чисел, причем один из них решил неправильно».

На глубине свыше ста метров наркотическое действие азота уже настолько сильно, что водолаз теряет координацию движений. Азотный наркоз тем опасен, что человеку становится все ничем, заглушается инстинкт жизни. В таком состоянии человек способен на безрассудные поступки. В книге «В мире безмолвия» известные аквалангисты Кусто и Дюма рассказывают о гибели их товарища: в состоянии азотного опьянения он выбросил изо рта мундштук, через который вдыхал воздух из баллонов, и захлебнулся.

Увы, коварство азота не исчерпывается пьянящим действием. Профессия водолаза существует века, и столько же времени известно тяжелое болезненное состояние, наступающее при быстром всплывании человека на поверхность с глубины 15 метров и ниже. Медики называют это состояние кессонной болезнью, воздушной эмболией (закупоркой), а в народе называют заломом, черной пеной. Даже при слабой форме болезни водолаз испытывает сильные боли в суставах, а тяжелые случаи завершаются параличом и даже смертью.

Причину кессонной болезни установили физиологи, впервые — француз Бэр. Чем больше давление, тем больше растворяется в организме азота из вдыхаемого воздуха. Ведь азот никакого участия в биохимических процессах не принимает, а в воздухе его около 80 процентов. Пока давление не уменьшается, растворенный в тканях человека азот никому не мешает. Безвреден он и в том случае, когда давление снижается достаточно медленно. Его избыток успевает прораствориться, то есть просочиться, из тканей в кровь, а из нее спокойно выходит через легкие наружу.

Беда приходит в случае быстрой декомпрессии, при резком спаде давления. Организм заполняется мириадами мельчайших пузырьков газа, кровь пенится. Затем пузырьки сливаются и расширяются, отчего закупориваются капилляры, вены и, наконец, артерии. Бывает, пузырьки разрывают ткани, блокируют спинной мозг, поражают нервную систему. Явление это близко к тому, что мы наблюдаем в бутылке с лимонадом. Пока она закупорена, углекислый газ растворен в жидкости, но стоит извлечь пробку, как давление в бутылке резко снизится, жидкость вспенится и пузырьки газа, лопаясь, будут улетучиваться.

Меры предупреждения тут очевидны. Необходимо, чтобы подъем на поверхность протекал медленно, с промежуточными остановками на специальных площадках-камерах, где проводится ступенчатая декомпрессия человека. При первых же симптомах кессонной болезни акванавта помещают в декомпрессионную камеру, где вначале увеличивают давление, чтобы пузырьки азота вновь растворились, затем давление постепенно снижают. Разработаны таблицы, указывающие число и длительность декомпрессий в зависимости от глубины и времени нахождения на ней человека. Однако, известные акванавты, нарушавшие эти правила без вреда для здоровья. Выяснилось, что кессонная болезнь как будто не берет полных, тяжеловесных водолазов. В чем дело? Тучность — свойство, вообще говоря, отрицательное для водолаза, но тут она играет роль спасителя. Оказалось, что жиры растворяют азот в себе в шесть раз лучше, чем кровь. Удачливый

водолаз успевал покинуть глубину прежде, чем азот начинал поступать в кровь.

Показателен такой опыт. Двух козлов подвергли давлению в камере, равному давлению воды на глубине 61 метр, затем его резко снижали. Старый жирный козел остался невредим, а молодой худой был парализован.

Итак, акванавтов в глубинах океана подстерегают по крайней мере три опасности: кислородное отравление, азотное опьянение и кессонная болезнь. Где выход? Как избежать этих неприятностей?

В 1943 году французы Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели акваланг — аппарат для подводных пловцов, в котором сжатый воздух автоматически подается для дыхания под нужным давлением в зависимости от глубины погружения. В сочетании с маской и ластами акваланг произвел революцию, впервые предоставив человеку возможность автономно и быстро передвигаться и свободно маневрировать в глубине моря. Однако и при современном снаряжении ни один водолаз, дышащий обычным воздухом, не в силах преодолеть «барьер», находящийся где-то около девяноста метров глубины, и все из-за кислородной и азотной опасности.

Исследователи решили: раз воздух на большой глубине «ядовит», его надо заменить искусственной дыхательной смесью.

Конечно, в любой такой смеси кислород незаменим. Но с кислородным отравлением бороться легче — надо только точно его дозировать. А вот азот, разбавитель кислорода, должен быть заменен, по меньшей мере частично. Но чем? Таким же инертным, как азот, газом.

Попробовали гелий — газ абсолютно инертный, в семь раз легче азота. Но главное — крайне мало растворимый в крови и тканях организма. Дыхание гелиевым воздухом исключает явления наркоза и резко снижает время, необходимое для декомпрессии, что намного ускоряет подъем водолазов.

Гелиевый воздух внедрился в подводную службу. Это отодвинуло глубинный барьер почти в два раза: известны благополучные опускания водолазов на 170 метров. У дышащих гелиевым воздухом хорошее самочувствие: этот подвижный газ быстро подводит в легкие кислород и так же быстро уводит углекислоту. Поначалу пользовались смесью из четырех объемов гелия и одного объема кислорода. Теперь больше пользуются сложными, перемешанного состава смесями из кислорода, гелия, азота, иногда еще водорода и неона.

Но у гелия выявилась своя особенность: он хорошо проводит тепло. Поэтому под водой эта особенность оборачивается недостатком: гелий холодит организм, что требует усиленного обогрева.

У гелия есть еще одна, безобидная, правда, особенность. В нем голоса людей меняются настолько, что становятся мальчишески высокими, почти пискливыми. Причина этого явления кроется все в той же легкости гелия. Он так быстро проходит через голосовые связки, что создает слабый резонанс в звуковых полостях гортани.

Сейчас научные подводные экспедиции и наземные лаборатории кропотливо изучают, как переносит человек длительное пребывание под водой при дыхании гелиевым воздухом.

В 1963 году учеными Монакского океанографического института под руководством Кусто бы-

ла осуществлена программа «Проконтинент-2» в районе Красного моря на глубине 25 метров. В подводном домике, атмосфера которого почти наполовину состояла из гелия, группа исследователей работала в течение месяца.

В 1965 году та же группа создала в Средиземном море на глубине 110 метров подводный поселок «Проконтинент-3». Газовая смесь, которой почти месяц дышали шесть акванавтов, содержала уже 98 процентов гелия и только два процента кислорода. В условиях давления воды в 11 атмосфер это содержание кислорода достаточно, чтобы обеспечить нормальное дыхание. За время двух экспедиций у ее участников не замечено каких-либо болезненных сдвигов.

Аналогичные эксперименты проводили ученые США в Тихом океане. В 1965 году они установили на глубине 62,5 метра в 960 метрах от берега глубоководную лабораторию «Силэб-2», где люди находились в течение 40 дней, пользуясь искусственным воздухом из смеси 4 процентов кислорода, 16 — азота и 80 — гелия под давлением около 7 атмосфер. Температура воды в то время не превышала 10 градусов, поэтому принимались особые меры по утеплению костюмов и лаборатории. Однако этот эксперимент кончился хуже: двое акванавтов почувствовали недомогание.

Разумеется, подобные эксперименты проводятся и в нашей стране. Часть их осуществляется совместно с группой Кусто (эту группу в шутку называют «кустарями»). Отличительная особенность советских работ — особая тщательность и многосторонность медико-биологических исследований. Эти исследования должны дать точный ответ на вопрос, что нужно для длительного пребывания человека под водой без ущерба для его здоровья.

Один из таких научных центров — лаборатория подводных исследований Ленинградского гидрометеорологического института. Лабораторию возглавляют Анатолий Викторович Майер и его заместитель Всеволод Джус. Осенью 1967 года сотрудники лаборатории установили у берегов Сухуми на глубине 25 метров подводный дом «Садко-2». Это две сваренные металлические сферы, образующие двухэтажное сооружение теплой желтой окраски. «Садко» прикрепляется к морскому дну системой блоков и грузов. Здесь все, как в благоустроенном доме на суше. С берега к «Садко» были протянуты электрический кабель и шланг, по которому шла дыхательная смесь.

Жившие в «Садко-2» акванавты отрабатывали методику изучения гидрофизических процессов в приборной зоне. Они систематически выходили, точнее всплывали для наблюдений, достигая глубины 50 метров. В доме с помощью электропечи поддерживалась температура воздуха 24 градуса.

Второй подобный дом, «Ихтиандр-66», был сооружен членами донецкого подводного клуба «Ихтиандр». В 1966 и 1967 годах этот клуб проводил широкий эксперимент в бухте Ласпи на южном побережье Крыма.

«Ихтиандр-66», представлявший собой однокомнатный дом, был установлен в бухте Ласпи на 12-метровой глубине. А «Ихтиандр-67» был уже четырехкомнатным домом из сварных конструкций. Одна комната — жилая, в другой аппаратура и приборы, с их помощью врачи следили за жизнедеятельностью акванавтов. В третьей — кухня и, наконец, помещение для подопытных кроликов,

морских свинок и белых крыс. Эта подводная лаборатория, ее оборудование и костюмы — все было сконструировано и изготовлено силами любительского клуба.

Для обслуживания акванавтов на берегу был создан палаточный городок. Отсюда по шлангам, трубам и кабелю подавались воздух, вода и электроэнергия. С берега же дистанционно с помощью телевизионной установки и радиотелеметрии осуществлялось управление всеми системами «Ихтиандра-67». Почти половина состава лагеря — медицинские работники, что позволило развернуть на берегу, помимо подводных лабораторий, клиническую, биохимическую и физиологическую лаборатории. Акванавты «Ихтиандра-67» дышали обычным воздухом, но в дальнейшем, по мере углубления в царство Нептуна, они перейдут на дыхательные смеси.

Что же дальше?

На пути к утверждению господства человека в океане длинный ряд нерешенных проблем. Коснемся только двух.

Первая — принципиально новая одежда-броня для акванавта. Она должна быть из материала, сочетающего невиданную механическую сверхпрочность с гибкостью и эластичностью. Такого рода материал позволит создать легкую, не стесняющую движений герметичную одежду, надежно выдерживающую давление в сотни атмосфер.

Вторая проблема — дыхание... водой. Да, именно водой, ведь вода — это та же смесь кислорода и водорода, только смесь в жидком состоянии. Именно этой «смесью» дышат рыбы.

Когда-то наши очень далекие предки жили в океане и умели «дышать» водой. Но процесс эволюции привел к тому, что вода для людей стала врагом. Мировая статистика говорит о том, что ежегодно в морях, реках и озерах тонут десятки тысяч людей. Причина смерти простая и ясная: вода заполняет бронхи, легкие, и человек погибает от удушья.

Однако, когда исследователи попытались поглубже разобраться в этой «простой и ясной» причине, то оказалось, что не так уж все ясно и... безнадежно. Пока проведены лишь первые опыты на животных, но они показали, что при определенных условиях легкие теплокровных животных могут выполнять функцию жабр. То есть не исключена возможность, что человек когда-нибудь научится «дышать» водой, как «дышали» когда-то, миллионы лет назад, его далекие предки.

Бесспорно, это всего только один из возможных путей радикального решения проблемы подводного дыхания. Пусть и фантастический, и довольно трудный, так как при каждом переходе из одной среды в другую такой акванавт-амфибия должен подвергаться довольно неприятной операции наполнения легких водой или освобождения от нее.

Поставщиком кислорода может стать та же морская вода, но не подвергшаяся химическому разложению. Ведь в растворенном виде кислород в ней всегда присутствует, задача лишь в том, как извлечь и доставить его человеку. Недавно появившаяся полупроницаемая пленка из силиконового каучука в принципе позволяет решить эту задачу.

Как работают искусственные «жабры» из такой пленки?

Это своеобразная мембрана, способная про-

пускать различные газы с разной скоростью. Если поместить человека в герметичный костюм или камеру из такого рода пленки, то в силу диффузии, стремящейся выравнять концентрации газов по обе стороны пленки, кислород, по мере его убывания, поступает из воды внутрь костюма, а выдыхаемая углекислота уходит из костюма в воду. Пока что это малопрочная, не выдерживающая значительных давлений пленка, но лиха беда — начало.

Уже довольно давно обсуждается вопрос о подводном дыхании кислородно-водородной смесью. Перспектива заманчивая: не в пример гелию, водород дешев, его источники обильны на Земле, он вдвое легче гелия. Важно и то, что глубинный барьер водородного воздуха еще ниже, чем у гелиевого воздуха. Но водород взрывоопасен. Можно, правда, устранить эту опасность, применяя смесь из 95—96 процентов водорода и 5—4 кислорода. Но как тогда пройти первые слои воды? Ведь такое ничтожное количество кислорода на малой глубине приведет к удушью акванавта. Испробуется способ погружения на двойном дыхании: до 40 метров акванавт дышит обычным или гелиевым воздухом, а глубже переключается на водородную смесь, с обедненным кислородом.

И все же перспектива таскать на спине баллоны с дыхательной смесью совсем не улыбчива. Это ограничивает возможности пловца, радиус его движений, да и недостойно это научно-технического прогресса. Тут нужны более радикальные меры. Разве заказан путь создания портативного электрохимического генератора водородно-кислородной смеси, смонтированного в маске? Или — еще рывок вперед! — вживление в организм такого генератора, питающегося биоэнергией?

Когда акванавт укроет свое тело в тонкой броне совершенного костюма, обретет новые органы в виде искусственных жабр и генератора дыхательной смеси, вооружится новыми, неизвестными водным препятствиям портативными средствами связи, тогда полностью реализуется идея человека-амфибии, господствующего во всех трех сферах — на земле, в небесах и в море.

Д. ФИНКЕЛЬШТЕИН, кандидат химических наук

ДЕТОПИСЬ НЕ- ОБЫЧАЙ- НЫХ ЯВЛЕНИЙ

Ноябрь

В ноябре на Урале устанавливается «пора белого безмолвия» — долгая и холодная зима. Однако и в это, казалось бы тихое время, стихийные силы природы дают о себе знать.

Шестого ноября 1964 года на еще не замерзшем Воткинском водохранилище забушевал ветер, взметнув высоченные волны. Шквал сорвал с причалов два дебаркадера, а теплоход «Исследователь», получивший пробоину от удара о мол, затонул.

Двадцать восьмого ноября 1962 года на Урале зима чувствовала себя полной хозяйкой. Кругом сугробы снега. Низко над землей ползли плотные серые тучи. И вдруг неожиданно в районе Свердловска облачную пелену разрезали яркие вспышки молний и яростно рывкнули громовые раскаты. Через два года, пятого ноября 1964 года снова прогремела зимняя гроза. За все время метеорологических наблюдений в Свердловске, а они ведутся с 1836 года, других гроз в зимнее время не наблюдалось.

В сохранившихся архивах имеются сведения о землетрясениях в ноябре. Двадцать девятого ноября 1832 года в Нижнем Тагиле и прилегающих к нему пунктах сильно вздрогнула земля. Землетрясение сопровождалось гулом, подобным отдаленному грому.

Через сто два года, 28 ноября 1934 года, землетрясение силой до пяти баллов произошло в Верхне-Губахинском поселке Пермской области.

Л. ФЕДОРОВ

ШКАТУЛКА

МИХАИЛА

ХУРАМШИНА

Водном из новых жилых кварталов Челябинска, на улице Артиллерийской, часто можно встретить коренастого пожилого человека. Ходит он не спеша, опираясь на палку. Глаза за толстыми стеклами очков кажутся очень большими. Он внимательно приглядывается к прохожим, иной раз останавливается в раздумье. Ряды орденских планок на его куртке говорят о том, что человек прошел войну и немало повидал.

Познакомиться с ним, как это часто бывает, помог случай.

В редакцию заводской многотиражки пришло письмо. Автор его, Михаил Хурамшин, рассказывал о событиях самых напряженных дней битвы на Курской дуге. Материал был интересен не только по фактам, но и написан интересно, сочно. В конце письма автор сообщал, что он нездоров и поэтому не может побывать в редакции.

На наш звонок дверь открыл человек... с которым мы много раз встречались на улице.

Завязалась беседа, и вскоре мы убедились, что перед нами действительно человек с необычной биографией.

Рассказывая о себе, Михаил Александрович положил на стол папку с бумагами и поставил небольшую шкатулку.

— Начну с медали.

Михаил Александрович достает из шкатулки небольшую серебряную медаль с надписью: «За взятие Парижа. 1814 г.» Медаль выглядит не новой, буквы наполовину стерлись. Видно, что она побывала во многих руках.

— Вернее, даже не с медали, а с рассказа о своей бабушке. Звали ее Фахрнися Гизатуллина. Жили мы в селе Ачилькуль, ныне в Красноармейском районе. Село это еще называли Асылкуль, что означает «чудесное озеро». Мои предки были переселенцами. В поисках земли они выбрали себе место около этого озера. Здесь образовался десятый юрт девятого башкирского кантона.

В один неурожайный год, когда нашу местность охватил ужасный голод, единственным источником для добывания пищи оставалось это озеро: в нем было много разной рыбы. Но озеро принадлежало богатым купцам, и бедные люди не имели права ловить в нем рыбу.

Как мне рассказывала бабушка, бедняки, доведенные до крайней нужды, вылили в озеро несколько бочек дегтя и помета. Рыба хлынула на берег. Голодные люди с жадностью ели ее и тут же умирали.

Рассказывая об этом, бабушка плакала. Она говорила мне: «На берегу озера пролито много слез, перемешанных с утренней росой. Не забудь этого, сынок!»

Бабушка умерла в 1926 году, когда ей было 90 лет. Она была грамотной, учила женщин арабской словесности. Они приходили к ней домой, и каждая приносила по полену дров.

К десяти годам бабушка научила меня складывать буквы, и первым словом, которое я прочитал по-русски, было слово «Париж». Тогда, конечно, я не имел понятия — что это такое: город, село или деревня? Объяснила мне все бабушка. От нее я узнал о жизни своего прадеда Замина Мухамедзяновича Батырбаева.

Когда началась Отечественная война против Наполеона, в городе-крепости Оренбурге был сформирован татаро-башкирский казачий полк. Каждый приходил в него со своим конем, со своей сбруей. В этот полк попал и мой прадед. По рассказу бабушки, он был очень ловким джигитом и на состязаниях на полном скаку доставал с земли пятак.

Татаро-башкирский полк отличился во многих сражениях, а прадед мой за лихость и смелость был награжден медалью «За взятие Парижа». Бабушка говорила, что прадеда наградили также именной саблей и седлом. А еще получил он льготу на 75 десятин земли. Но землю эту пришлось бы отобрать у крестьян, у которых ее и так было мало. И прадед отказался от земли. Вместо этого ему назначили денежную пенсию.

Медалью прадеда в нашей семье очень дорожили, но после смерти бабушки она пропала...

В шкатулке Михаила Александровича хранились и боевые награды хозяина. Михаил Хурамшин оказался достойным продолжателем ратной славы своего прадеда.

Молодым парнем он пришел на Челябинский тракторный завод, стал отличным токарем. Потом работал редактором татарского отдела Челябинского радиовещания.

Свой путь солдата Хурамшин начал в Особой Дальневосточной Красной Армии, которой командовал В. К. Блюхер. С прославленным полководцем Михаил встречался дважды: первый раз, когда принимал присягу, второй раз — на слете военных корреспондентов.

В годы Великой Отечественной войны Хурамшин сражался под Ленинградом, был участником Сталинградской битвы.

26 января 1943 года в районе Мамаева кургана танковая бригада «Челябинский колхозник» соединилась с частями 62-й армии. В первых рядах танкистов был и Михаил Александрович Хурамшин — заместитель начальника политотдела бригады по комсомолу.

Многими дорогами войны прошел воин-уралец: участвовал в крупнейшем танковом сражении на Курской дуге, освобождал Польшу, дошел до Берлина.

— Вскоре после победы,— рассказывает Михаил Александрович,— я с группой бойцов отправился на «экскурсию» в рейхстаг. Мы ходили по этажам полуразрушенного здания и читали надписи на стенах и колоннах, оставленные нашими бойцами. Запомнилась одна забавная надпись: «Почему такой беспорядок и хаос в правительственном учреждении?» Мы тоже оставили там свой автограф.

Все годы, когда Михаил Александрович шел трудными солдатскими дорогами, он помнил о медали своего прадеда, писал родным, просил непременно разыскать ее. Но ведь прошло много лет! Отыщется ли след семейной реликвии?

Закончилась войка. Хурамшин приехал в родные края. Земляки радостно встретили односельчанина. И когда он в парадной форме — вся грудь в наградах — сидел за праздничным столом, ему сделали дорогой подарок — вручили медаль прадеда.

Где же она была все это время?

Оказалось, в двадцатых годах, когда был сильный голод, бабушка, чтобы прокормить внуков, променяла медаль за пуд овса. И только через двадцать лет после ее смерти медаль снова вернулась в семью Батырбаевых-Хурамшиных.

Так и лежат они в шкатулке рядом — медаль прадеда «За взятие Парижа» и боевые награды правнука.

— Так вот,— рассказывает Михаил Александрович,— с тех пор, как ко мне вернулась медаль, я и «заболел» краеведением. Азербайджанский поэт Халил Рза говорил: «Когда посещаешь отцовские края, прислушиваясь к голосу почтенных дедов». След человека не должен пропасть. Человек не должен умереть, не оставив добрый след.

Так недавний танкист стал историком, краеведом, летописцем своего родного села. У любого городка, села, считает Михаил Александрович, даже если там и не было каких-то знаменательных событий, все равно есть своя история, достойная внимания потомков. Но эта «историческая кладовая» может открыться только человеку пылливому, настойчивому, любящему свой край, его людей, его традиции.

И Михаил Александрович начал поиск. Начал с того, что было ему более доступно,— с истории своей семьи, своего рода. Расспросил стариков, разыскал в архивах старинные документы.

...Он развязывает папку. Достает пожелтевшие от времени листы и передает их нам.

Прошения «на высочайшее имя», Исковые заявления в суд. Документы конца прошлого века. Писал их дед Михаила Александровича — Ахмадьяр Батырбаев. Для своего времени он был образованным человеком, окончил духовную семинарию, стал гражданским адвокатом, хорошо владел славянской письменностью.

Короткую, но яркую жизнь прожил старший брат Михаила Александровича — Надырша Хурамшин. В девятнадцатом году, когда во время эпидемии тифа умерли родители, он ушел на поиски счастья. В двадцать втором году вступил в комсомол, а еще через четыре года возвратился в родное село — возмужавшим, грамотным. Надыршу избрали председателем сельсовета и депутатом Бродокалмакского райсовета. Весной 1931 года во время посевной кампании кулаки застрелили его из обреза. Ему было 27 лет. Спустя тридцать лет односельчане на свои средства поставили на могиле Надырши памятный обелиск.

Л. КОМАРОВ,
Е. ХОВИВ



МЫЗ НА НИМЦЫ НИГ НА ПСОДЫ

Н. НИКОЛАЕВ

Рисунки В. Яковлева

Кто сильнее?

— Папа, папа, вставай! — тормошил меня сын.

— Что случилось?

— Птички воюют.

Я прислушался. С улицы доносился тревожный многоголосый писк и громкое, злое стрекотание:

— Кра-ка-ка-ка, кра-ка-ка-ка!..

Тихонько вышли мы во двор. На акации сидела, сверкая белыми боками, надменная сорока. Она то и дело пыталась засунуть голову в отверстие скворечника. Скворцы же со всех сторон наседали на нее. Некоторые умудрялись клонуть ее в спину, в затылок, выдернуть перышко. Сорока отбивалась, но продолжала свое черное дело.

Скворечник был глубоким, и вытащить оттуда птенцов ей не удавалось. На шум со всех сторон слетелись воробьи. Они облепили ветки вокруг скворечника, надсадно кричали. Над деревом закружилась стайка ласточек-касаток. С пронзительным, гневным «чи-ли-и!» проносились они над разбойницей.

Птиц становилось все больше и больше. Они смелее бросались на незваную гостью. Перья летели по ветру. Сорока не ожидала такого. Она взъерошилась, вертела головой, но не успевала отбиваться. Глаза у нее горели, голос осип. Вот она подпрыгнула, взмахнула крыльями, не солоно хлебавши полетела в сторону. Птицы скопом пустились вдогон. С писком, свистом гнали ее до манычских камышей.



Июль. Над Манычем удушье и тишина. Кажется, все притаилось, замерло. Так бывает перед дождем. Лишь изредка в обожженной траве цирцикнет кузнечик и, будто захлебнувшись, умолкнет. А солнце, до белизны раскаленное, висит чуть повыше ясеней, пышет жаром. Тень от деревьев у самых корневищ.

На яру — отара. Овцы сгрудились у рощицы, застыли, как белесые валуны на морском берегу. Сощутив глаза, уткнули головы одна под другую, дремлют стоя. Серая косматая собака свалилась поодаль под кустиком польни. Высунув широкий розовый язык, с которого сбегают светлые капельки, часто-часто дышит, отбивается лапами от наседающих мух и оводов. Встряхивая головой, она звонко клацает зубами. Иногда настораживает уши, пристально смотрит вдоль берега.

Мы с чабаном Орефием сидим в тени дремучего полусасохшего карагача. В старом почерневшем котелке он варит уху из пойманных мной подлещиков и таранушек. Горький дым кизяка щекочет ноздри.

Подружились мы с Орефием с того дня, когда впервые пригнал

Крылатый настушок

он овец на тырло к Желтому Яру. Орефий похож на горца. Даже в летний зной носит косматую барашковую шапку и старенькую черную бурку. Бурка спасает его от палящего солнца, дождя и ветра. Она служит постелью, оберегает от змей и тарантулов.

— Гроза будет, — говорит Орефий, помешивая деревянной ложкой уху.

Поглядел я на небо, а оно совсем чистое. Где-то у обрыва раздался пронзительный свист. Чабан насторожился.

— Лютра! — крикнул он. Но собака уже вскочила, стремглав понеслась в сторону свиста.

— Кто свистит? — спросил я.

— Пастушок. Помощник мой. — Орефий взял герлыгу и ушел. Я — следом. «Что, — думаю, — за пастушок? Почему раньше не видел?»

У оврага, в стороне от отары, стояла крупная овца — меринос. Возле — еще мокренький беспомощный ягненок. Недалеко сидела Лютра, она настороженно оглядывалась по сторонам. Подобрал Орефий ягненка, понес. Овца побежала следом.

— А где ж пастушок? — спросил я.

— Во-он, порядок наводит, — чабан кивнул в сторону отары.

Я искал глазами подпаса — парнишку, но увидел серенькую птичку чуть поменьше воробья. Она странно летала над землей: вверх-вниз, вверх-вниз, почти на одном месте, будто кто подбрасывал ее. Подлетев к отбившейся овце, она свистнула, подогнала ее к отаре, затем села овце на спину, стала копать в шерсти: то ли прилипшие семена трав клевала, то ли насекомых. Я был так поражен, что не находил слов.

В тени под карагачом Орефий положил беленького курчавого, будто игрушечного, ягненочка. Овца стала облизывать его.

Мы молча ели уху, соленую брынзу из овечьего молока.

— Такое, брат, дело, — сказал Орефий после небольшого раздумья. — От пастушка большая подмога. Овца ли отобьется, ягненок потеряется, он все увидит, даст знать. А надьсы и такое было. Лег я на бурке, всхрапнул малость. Жара сморила. Лютры со мной не было. Щенята у нее. Слышу — свист. Вскочил как ужаленный. А овцы — в куче. Выгивают шеи, жахаются. А пастушок, знай, летает да посвистывает. И что бы ты думал? Со стороны терновой балки два серых разбойника совсем близко подобрались. Пальнул я из дробовика, только пыль взметнулась. Теперь вот носа не кажут. Только по ночам протяжный вой слышу...

На западе сгущались тучи. Далеко, видно у самого моря, огненные зигзаги прожигали темную синь неба. Надвигалась гроза. А я все глядел на отару и думал о крылатом пастушке.



Когда раки не пьются

Дедушка Никифор всю жизнь рыбачил — то удочками, то венгерями и ныретьками, а то и сетями. Смолоду на помещичий стол свежечка поставлял. Под старость для колхоза трудился. Уйму рыбы переловил. А сколько с ним на рыбалке приключений было — не перечести! При-

вык старик ничему не удивляться. Но однажды и он в смятение пришел.

...Домик Никифора стоял на яру, у глубокого ставка. А ставок — у самого Маныча. Разделяли их узкая полоса земли и невысокая дамба.

Как-то под воскресный день решил дед сеть просушить. Развесил ее у самой воды на осоке. Так и на ночь оставил. Утром пришел — глазам не поверил: в нижней части сети, что к земле прикасалась, до сотни раков! Да каких! В полторы ладони! Копошатся, шепотят, секут клешнями. И в очко попали не от ставка, а со стороны дамбы.

— Чудеса! — воскликнул старик. — Как так? На сухом берегу — улов. А, может быть, подшутил кто?

Распутал сеть, накидал оклунок раков и домой. А утром глянул — их еще больше в сеть набилось.

— Наваждение какое-то! — изумился старик. — Не снится ли все это?..





И решил заночевать прямо на берегу. Расстелил старенький сюртучишко, охапку куги под голову, да и уснул.

И привиделось деду, будто он — мальчишка еще босоногий — забрался к соседу, отцу Евлампии, на бахчу. И не успел еще медовой дынькой полакомиться, как здоровенный лохматый поп сцапал его за шиворот.

— Воруешь, чадо, — зашипел он. И давай крапивою хлестать. И не по какому-нибудь мягкому месту, а прямо по щекам...

Застонал дед, продрал глаза, а в бороде — раки копошатся. Подскочил, двинул рукой со всей силы. Шмякнулись они оземь, а один в бороде запутался, на клешне качается. Огляделся Никифор, а их — тьма! Ползут широкой полосой со стороны Маныча, через дамбу, ступить негде. И порядок какой-то соблюдают, будто это войско. Те раки, что левее, — в ставок скатываются, остальные — в сеть.

Стал Никифор трухлом размахивать.

— Кыш, кыш! — хотел повернуть войско вспять. Но... не вышло. Присел он, руками поворачивал усатых путешественников. И это не помогло. Стал собирать в мешок. Наберет — и за дамбу, в Маныч. Отнес и тех, что в сети бились. Но они снова и снова выползали на берег.

А когда брызнул первый солнечный луч, на земле не осталось ни одного. Будто их и не было вовсе.

Шесть ночей шло рачье переселение. Дед убрал сеть. Очистил бережок от травы, чтобы легче было ракам к воде добираться.

А еще через несколько дней в мелководном, перегретом солнцем, Маныче «задохнулась» вода. Рыбий мор начался.



Бабушкин подкидыш

Мы, дети, любили свою старенькую бабушку. Звали ее «бабой Катей», «бабуней», «бабусенькой».

Была она высокой, худощавой, слегка согбенной. На ее смуглом морщинистом лице светилась улыбка, а карие глубокие глаза искрились добротой и любовью.

Каждый день бабуня рассказывала нам чудесные степные сказки, удивительные давние истории. Прожила она девяносто шесть лет и большую часть жизни — в диких целинных степях Приманычья. Зимой и летом коротала дни и ночи на далеком птичьем зимовнике донского помещика. Ее крохотная мазанка стояла у Манычской поймы, вблизи большого мелководного озера.

Жарким летом озеро зарастало камышами, кугой, бодягёй, покрывалось куширом, служило приютом для перелетной птицы.

Приехали как-то из города охотники. Плавали по озеру на душегубках, бродили в длинных сапожищах по заболоченным местам. Много дичи добыли. А уезжая, швырнули старушке в чулан совсем еще молодого, беспомощного журавленка.

Много хлопот доставил он ей. Вначале ничего есть не хотел, дичился, тосковал. Бабушка даже плакала. Отпустить же в болото боялась.

— Ведь погибнет. Все равно, что сироту-несмышлениша вышвырнуть за ворота, — рассуждала она.

На третий день неволи журавленок осмелел. С жадностью набросился на еду. И такой у него аппетит появился, что бабушка едва успевала корм доставать.

Прошел месяц — другой, у журавленка отросли длинные крылья, вытянулись ноги. Он стал походить на взрослого журавля.

Пойдет, бывало, бабушка на птичник кур и уток кормить, а Журка за ней по пятам на стройных ногах, как гвардеец, вышагивает. И такая у него величественная осанка, будто он по меньшей мере генерал какой. Обитатели птичника с недоумением смотрели на пришельца, покорно уступали дорогу. Не понравился Журка лишь лохмононому петуху Горлопану. Подкараулил тот журавленка, исподтиш-



ка набросился, стал мутузить. Оробел Подкидыш. Ведь его еще никогда не били. Но боль пробудила в нем дикую ярость. Клювом, крыльями нанес он забияке такие удары, что тот едва дух не испустил.

Недружелюбие к журавленку проявил и щенок Рябчик. Подкрался и цапнул за хвост. Журка изо всех сил ткнул обидчика острым клювом. Рябчик завизжал и бросился наутек. С тех пор следил Рябчик за недругом издали, иногда рычал и тявкал. Не мог забыть обиду.

Часто бабушка уходила в целинную степь, рвала катран, целебные травы, у маньчжских яров собирала ежевику, откапывала корешки цикория. А Журка ни на шаг не отставал. Сначала ходил и бегал, потом подлетывать начал. Однажды робко поднялся на крылья, покружил над озером да и сел на болотную мочежину. Долго глядел в воду, будто отражением своим любовался. Затем начал за лягушками гоняться. И так это занятие ему понравилось, что он стал летать на болото ежедневно.

Незаметно ушло лето. Пожелтели на озере камыши, пожухла трава на вековой целине. А журавленок все рос да рос.

Шла как-то бабушка со своим питомцем к копанке за водой. Откуда-то из поднебесья опустилась журавлиная стая, закружилась над мелководьем. «Курлы-курлы» — неслось с высоты.

Запрокинул журавленок голову, одним глазком посмотрел в небо, насторожился, затем откликаться стал. Покурлыкали журавли и сели на островок.

Поглядел Журка на бабушку, как бы спрашивая:

— Как же быть? Что делать?

— Полети, милоч, погляди, авось, родителей опознаешь...

Будто поняв сказанное, журавленок взмыл в небо, описал полукруг и сел на кочку вблизи островка. Сородичи окружили его. Распутив крылья, топтались вокруг, гомонили. Казалось, спорили о чем-то.

На закате солнца поднялась стая, выстроилась в небе клюкой. Полетел с ней и Журка.

Помахала бабушка рукой, поглядела вслед, а у самой — сердце разрывается, будто дитя родного лишилась. А когда стемнело, к великой радости ее воротился Журка домой. Видно, понял: слабы его крылья, не угнаться за дикими журавлями. Только с того дня он плохо стал есть, все глядел в бездонное небо, прислушивался к далеким, неведомым, куда-то манящим и только ему понятным звукам. Иногда поднимался над зимовником высоко-высоко и снова спускался.

Прошла неделя. Ранним утром пошла бабушка открывать птичник, а журавли кружат над болотом, сигналы подают.

Отпустила она журавленка. Тот стремглав полетел к островку и только поздним вечером воротился. Так продолжалось много раз.

С каждым днем становилось холодней. Подули с калмыцких степей певучие ветры. Будто пожараща полыхали — горели вечерние зори, предвещали ненастье.

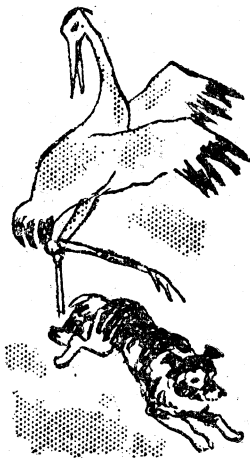
Как-то во время грозы журавли всю ночь оставались на островке. Тогда не вернулся домой и Журка. А утром бабушка видела: пролетала стая над зимовником. Журавленок начал снижаться. Старые журавли окружили его, стали подталкивать снизу вверх, все выше и выше. Так и увели. Боялись, видно, что останется детеныш в суровом краю и погибнет.

С голосистыми ветрами прилетела зима. Сковала Маныч, озеро. Закидала сугробами степь. Бураны сметали снег в овраги, терновые балки. По ночам в густых зарослях камыша протяжно, на разные голоса выли волки. А бабушка сидела в своей землянке да все думала: «Где теперь милый Журка? Что с ним?»

Но сколько ни злобствовали ветры, как ни лютовали морозы, пришлось зиме отступать на север. Весеннее солнышко съело снега. Как невеста, нарядилась дикая степь в ярко-зеленое платье, запестрела красными воронцами, лазоревыми тюльпанами.

И опять с юга на север, как и тысячи лет подряд, потянулась перелетная птица. Возвратилась и журавлиная стая. И Журка пытался вернуться на зимовник, но сородичи не позволили. Они увели его далеко в калмыцкие степи.

Лишь поздней осенью, снова улетаая на юг, журавленок все-таки снизился над избушкой, кружился, что-то курлыкал, а бабушка стояла у порога, углом платка утирала слезы.





АЗЪ, БУКН, ВЪДН

Задумывались ли вы над тем, зачем людям даны имена? Да для того, ответите вы, чтобы люди могли различать друг друга. Правильно. Но присмотримся к нашим именам внимательней. Растут, например, в одной семье шестеро детей: Вера, Люба, Надя, Коля, Сережа, Ваня. Можно ли сказать, кто из них девочка, а кто мальчик? Конечно! Вера, Надя и Люба — девочки, а Коля, Сережа и Ваня — мальчики. Значит, имена людей отличают одного человека от другого, мужчин от женщин. И это не только в русском языке, но и во многих других: арабском, немецком, греческом, французском, турецком...

Далеко не во всех языках личное имя употребляется с прибавлением отчества, как у нас: Софья **Васильевна** или Петр **Семенович**. Отчества есть также и у арабов. Омар ибн Юсуф значит — Омар, сын Юсуфа; Сулейман ибн Дауд — Сулейман, сын Дауда и так далее. У западноевропейских народов употребляются лишь имена и фамилии.

Фамилии? А что это такое? В переводе с латинского фамилия означает «семья». В самом деле, члены одной семьи, как правило, носят одну фамилию: скажем отец — Иван Семенович Петров, мать — Ольга Александровна Петрова, их дети — Маша, Сережа и Витя Петровы. Значит, фамилия — семейное имя. Итак, в русском языке полное имя состоит из трех частей — имени личного, отчества и фамилии. У немцев же, как и у других народов Западной Европы, отчества нет, но зато может быть два-три имени: Иоганн Вольфганг Гёте, Георг Фридрих Вильгельм Гегель. У французского историка Гизо было три имени — Франсуа Пьер Гийом, а у знаменитого естествоиспытателя Кювье — пять: Георг Леопольд Кристиан Фредерик Дагобер. В Испании нередки случаи, когда человек носит до десяти и более имен. А у древних римлян была особая система. Знатных людей называли по имени и по родовому имени,

к которому присоединялось еще и прозвище. Например, знаменитого оратора Цицерона звали полностью Марк Туллий Цицерон, что значит Марк из рода Туллиев по прозвищу Цицерон («горох»); великий поэт Гораций был Квинт Гораций Флакк — Квинт из рода Горациев по прозвищу Флакк (о ужас! — «вялый», «вислоухий!»). Простых людей звали чаще всего по имени или прозвищу, рабов — только по прозвищу (Дав — «волк», Сир — «сириец», Лидия, Фригия — по названию стран, откуда они привезены).

А в далекие-далекие времена, на заре человеческого общества, у людей были только имена. Да какие! Родится человек в ту пору, когда идет снег, назовут его Снегом, родится у огня — назовут Огнем. Были тогда имена — Гриб, Жук, Весна, Дорога, Цветок, Волк, Шуба. И ни фамилий, ни отчеств.

Фамилии появились сравнительно недавно, несколько веков назад. Они развились из прозвищ: **Бессонов** от **Бессона** — по-видимому малыш не спал по ночам; **Репин** — от **Репы**, **Шубин** — от **Шубы**, **Некрасов** — от **Некраса** («некрасивый»), **Пушкин** — от **Пушки**. Давались они и по роду занятий. Например, Кузнецов, Бондарев, Кожемякин (**кожемяка** — тот, кто мнет кожи, кожевник).

В древней Руси имена с отчествами носили цари, князья и бояре: князь Федор Юрьевич Ромодановский, воевода Иван Андреевич Хованский. Людей пониже рангом или незнатных, но «служилых» звали по имени и фамилии или прозвищу. В просьбах царю незнатным приказано было называть себя уничижительными именами: Степка, Ивашка, Гришка. Даже попы подписывались так: поп Иваниче. Имя и отчество были великой царской милостью для людей незнатного происхождения, которых царь хотел отличить. Такой обычай сохранялся и позднее, во времена Петра I. В романе «Петр I» Алексея Толстого есть такая сцена: вологодский купец Иван Жигулин привез

царю жалобу («челобитную») на англичан, притеснявших русских купцов на Белом море и скупавших у них товар за бесценок. Товара скапливалось много, а вывозить его было не на чем. Этим и воспользовались англичане, установив на русские товары низкие цены. Купец бил челом царю, прося о защите: «Вели нам везти на твои корабли... Уж мы постараемся, чем чужим королям, — своему послужим». Петр ответил: «К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен... Вези товар, но без обману, — смотри!» Купец от радости смешался: «Да мы, да господа, да... Языкам не учен. Повелишь, так что ж? Поторгнем и в Амстердаме, в обман не дадимся». А Петр сказал: «Молодец!» И обратившись к думному дьяку, добавил: «Пиши указ... Первому негодянту-навигатору... Как тебя, — Жигулин Иван, а по батюшке?» Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась: «Так с отчеством будешь писать нас? Да за это — что хошь!» И повалился царю в ноги, словно перед иконой.

Русские крестьяне до XIX века не имели фамилий. Если человека звали, допустим, Василий, а его отца — Семен, то в документах он значился как Василий Семенов. Если же у него был сын по имени Петр, то сына записывали как Петра Васильева. Могло случиться, что в одной деревне было два Петра Васильева. Чтобы различить их, люди вспоминали, что у одного прозвище Огурец, а у другого Карась. Так и в «ревизских сказках» писали: «Крестьянинъ Петръ Васильевъ, прозвищемъ Карась». Потом прозвище превращалось в фамилию — Карасев.

Итак, мы видим, что человеческие имена про-

шли долгий путь исторического развития, прежде чем стали такими, каковы они сегодня.

Теперь поговорим о том, что значат наши некоторые имена. Мы уже отметили, что в древности людей называли по различным обстоятельствам, сопровождавшим появление на свет ребенка (Звезда, Снег, Метель, Цветок), по какому-либо внешним приметам или качествам (Большухий, Быстроногий, Беспокойный, Упрямый). Имена собственные произошли от нарицательных. Это видно на примере некоторых русских имен: Вера, Надежда, Любовь (вера в будущее, надежда на друзей, любовь к жизни). Но большинство известных имен не объясняются в нашем родном языке. Что значит Николай, Александр, Ирина, Софья, Елена, Петр, Иван, Мария? Оказывается, в переводе с древнегреческого **Николай** — победитель народов, **Александр** — защитник мужей, **Ирина** — мир, **Софья** — мудрость, **Петр** — камень, **Онисим** — полезный, **Фекла** — сияющая, **Агафон** — возлюбленный¹...

Имена **Иван, Мария, Матвей, Аким** — древнееврейские. **Иван** (через греческое Иоаннес) восходит к древнееврейскому **Иохахан** — божья благодать; **Мария** — горькая, **Матвей** — дар божий... Греческие и еврейские имена раньше давались русским людям при крещении. Священник, заглянув в так называемые «святцы» (церковный именовник с перечислением христианских святых и дней, которые были им посвящены), давал человеку имя в соответствии с днем того или иного святого или угодника. Поскольку их было много,

¹ Смотрите книгу Л. Успенского «Ты и свое имя».

ГОВОРЯТ, ЧТО...

...когда началась первая мировая война, знаменитый чешский лингвист Бедржих Грозный был призван в австро-венгерскую армию. Чехия входила тогда в состав Австро-Венгрии. Чиновникам военного ведомства было безразлично, что перед ними ученый с мировым именем. Они видели в Грозном обыкновенного солдата, с которым нечего церемониться. Ученого хотели было отправить на фронт, сильная близорукость спасла его —

он был назначен на должность кладовщика в одну из тыловых частей и попал под начало немецкого офицера, грубого и невежественного.

Офицер удивлялся, что на складе у Грозного всегда полный порядок.

— Эй ты, паскуда, — обращался он к подчиненному, — почему у тебя кругом достача?

— Осмелюсь доложить, не ворую! — отвечал Грозный.

— А как ты успеваешь следить, чтобы твои подчиненные

не воровали? — продолжал офицер.

— Осмелюсь доложить, не отлучаюсь!

А не отлучался Грозный от склада потому, что хранил там рукописи, посвященные расшифровке одного из древних языков — хеттского. Это был первый в мире человек, воскресивший для потомства язык и культуру некогда могущественного Хеттского государства. Ученый при любых обстоятельствах остается ученым и старается делать свое дело вопреки препятствиям. Таким и был Бедржих Грозный, прочитавший письменна, молчав-

дней не хватало, и один и тот же день посвящался нескольким святым. У священника был довольно широкий выбор имен. Так называемое «священное писание» распалось на две главные книги: Библию, написанную на древнееврейском языке, и Евангелие — на греческом. Отсюда — соответствующие имена в «святцах». Через греческое посредство попало к нам немало и латинских имен: **Константин** — стойкий, постоянный, **Павел** — малый, **Марина** — морская, **Виктор** — победитель, **Виталий** — жизненный, **Валерий** — здоровый, **Акулина** — орлиная.

Собственно русских имен очень мало: Вера, Надежда, Любовь, Ярослав, Владимир и еще несколько. Но мы как-то не ощущаем этого недостатка. Имя важно для людей не по своему первоначальному смыслу, а по своей различительной роли. Человека, допустим, назвали **Афиноген**. Он может прожить сто лет, так и не узнав, что его имя значит «рожденный в Афинах». Сейчас старые греческие, латинские, древнееврейские имена явно пошли на убыль. Детей уже не крестят, и попы не распоряжаются именем человека, а раньше могли навязать любое. Поэт Демьян Бедный в одном стихотворении описывает, как чем-то обиженный на прихожан сельский поп назло давал их детям при крещении трудно произносимые или неблагозвучные имена: «Во имя отца и сына и святого духа крещаются младенцы: Голиндуха, Евил, Хузбазат, Турвон, Лупп, Кирса, Сакердон, Эксакостудиян, Проскудия, Каздоя... В деревне шум стоял от ругани и воя... У Сурина Наума за Голиндуху так благодарили кума, что, не сбегись народ на шум, крестины век бы помнил кум».

После революции у нас прошла волна изобретения новых имен в честь героев, вождей, выдающихся событий и примет времени. Появились Владлен, Нинель, Октябрина, Революция, Идея, Ким, Трактор, Комбайн, Энергия, Радиола и даже... Вторпит (Вторая пятилетка). О таких «загибах» очень хорошо сказано у писателя Льва Успенского в статье «Зовут зовуткой», в книге «Ты и твое имя». Эту книгу я рекомендую прочесть всем, кто интересуется происхождением имен.

В настоящее время устанавливается мода на некоторые древнерусские имена: Олег, Ольга, Игорь, Светлана, Людмила, отчасти традиционные, вроде Сергей, Андрей, Елена, Наталья.

Играть с именами нельзя. Мне вспоминается такой случай. Однажды в пятом классе по заданию учительницы дети должны были написать полностью свои имена, отчества и фамилии. Один мальчик отказался это сделать. «Тима! Почему ты не пишешь?» — спросила учительница. «Не буду», — ответил ученик. Несмотря на все уговоры, обещания и угрозы, учительнице так и не удалось ничего добиться. Она пошла к нему домой и услышала от его матери такой рассказ. Когда сын родился, отец на радостях записал его в записке как «Тигра». «Меня зовут Лев, — рассуждал папаша, — пусть сын будет Тигром. Тигр Львович — звучит внушительно». Может быть, это и можно было бы перенести, но его фамилия — **Кошкин**. Папаше — смех, а ребенку — психическая травма.

Поэтому — будьте осторожны! Помните: имя дается человеку на всю жизнь.

В. ЖИТНИКОВ

ше тридцать пять веков. Известный советский писатель Борис Лапин знал арабский, китайский, монгольский, персидский, чукотский, японский, французский и еще ряд языков, хотя не был лингвистом-профессионалом. Великолепное языковое чутье помогло ему в короткие сроки овладеть грамматикой и словарем самых сложных языков. Он побывал в Японии, Индии, Монголии, объехал весь Советский Союз — от Украины до Чукотки, от Балтики до Памира, участвовал в боях на реке Халхин-Гол.

Двадцати двух лет он бесстрашно отправился в горы

Гиндукуша, чтобы переписать население отдаленных горных долин, не раз рисковал жизнью, переправляясь через быстрые реки.

Как-то однажды, сбившись с пути, он попал на индийскую территорию, был задержан англичанами, правившими тогда Индией. Его бросили в тюрьму, полную клещей и скорпионов. Лапин едва оттуда спасся.

Жизнь этого удивительного человека буквально насыщена приключениями. И он великолепно знал не только языки тех стран, куда отправлялся, но и их быт, одежду и обычаи. Так, по Памиру он разъ-

езжал в кожаной шапке, ватном цветном халате, в высоких дарвазских чулках с бахромой, мягких сапогах, поверх которых надевал остроносые афганские туфли. Он даже имя себе взял местное — Бурри, сын Мустафа-Куля, чтобы местное население полностью доверяло ему. И он легко сходил за памирца.

Борис Лапин погиб в 1941 году, защищая от фашистов Киев. Ему было тридцать шесть лет.

ЛЕДЯНАЯ АРХИТЕКТУРА БАЙКАЛА

О великопных работах выдающегося скульптора и архитектора — Природы — мы знаем уже достаточно много. Это и каменные останцы Северного Урала, и красноярские Столбы, и зубцы Ай-Петри и много-много других, столь же известных и знаменитых каменных диковин. Они стоят с незапамятных времен.

Но природа занимается также и «сезонной

рами яркого забайкальского солнца. Ведь эти снимки сделаны в середине мая.

Как же возникла эта ледяная архитектура?

Гигантская чаша прогретой за лето воды с трудом поддается суровым декабрьским и даже январским морозам. Несколько раз озеро как будто стихает, смиряется, а затем грохочущим штормом взламывает ледяной панцирь, и снова вольно гуляет водная стихия в своих каменных берегах.

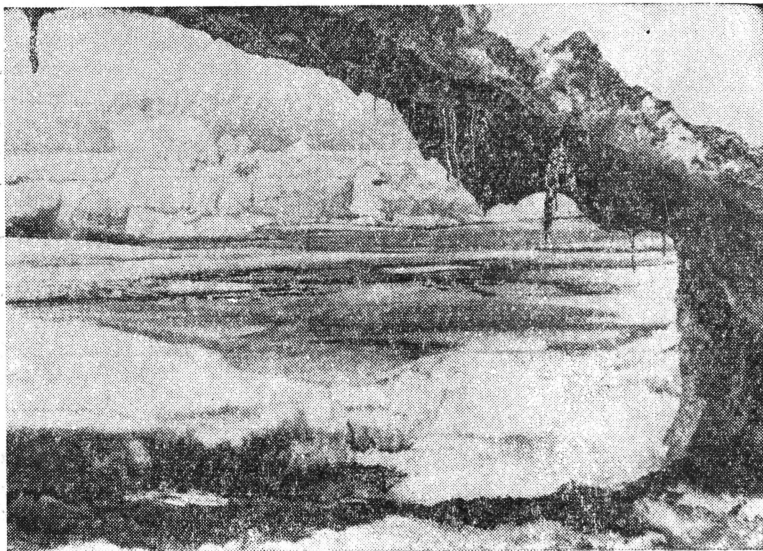
Вольно... Да не совсем! Стоит только волне выброситься на берег, как мороз почти мгновенно останавливает ее, как бы запечатлевая гибкую форму волны в виде неподвижной ледяной глыбы. Каждый последующий шторм наращивает высоту этого ледяного вала вдоль берега озера. Чем чаще и сильнее бушует Байкал, тем выше и прочнее будет ледяная стена, повторяющая форму гребня волны. В Восточной Сибири такие ледяные образования называются «сокуи».

Но вот приходит май, и вешние лучи начинают «работать» над хрупким и в то же время пластичным материалом. Там, где на снегу или на льду оказываются кусочки древесной коры, галька или просто что-либо темное, появляются сна-

чала ямки, затем воронки, а потом ледяные пещеры и гроты. Они соединяются между собой, образуя переходы, тоннели, мостики.

Днем талая вода активно помогает в строительстве ледяных замков, а ночью, замерзая, превращается в длинные и прозрачные хрустальные иглы-сосульки, что так украшают чертоги и придают им сказочный вид. Солнце пригревает все сильнее, и вдоль берега Байкала появляется полоса воды. В ней отражаются самые причудливые формы ледяных стен. Не по дням, а по часам меняется архитектура ледяных крепостей, все более и более фантастический вид она приобретает.

М. СОФЕР, кандидат географических наук



работой», созданием «временных сооружений».

Взгляните на этот снимок. Это не крепостные укрепления с переходными мостиками, боевыми площадками и воротами. Скорее, похоже на чертоги сказочных королей или ледяные замки троллей. Архитектором и одновременно строителем этих чудес был творческий коллектив в составе Воды, Мороза, Солнца, а материалом послужил лед.

Эти ледяные гроты, пещеры и мостики сфотографированы на восточном берегу Байкала, в заливе, куда впадает знаменитая река Баргузин. И даже трудно себе представить, что буквально за соседними прибрежными песчаными дюнами лежат на теплом песке люди и загорают под лу-



Барсушка

Рассказ

Иван БАСАРГИН

Рисунки Э. Баженовой

Тайга порыжелая, облетела и осунулась от злых ветров. Горы оцетинились деревьями, как шерстью, сжались от холода и спят. Поблекло солнце. Лениво скользят его лучи над тайгой, не греют. По небу плывут лохматые тучи. Порошит колючий снег. Зима. Сезон охоты...

Пришло время опасных схваток. В тайгу, только в тайгу!

Но как быть без собаки?

И вдруг мне повезло. Бабка Луша подсказала, что, мол, дед Сидор — а уж я-то его знал, отменный был охотник, но постарел и обезножил — может уступить свою собаку. Бросаю все и бегом к деду, в соседнюю деревню.

Дед Сидор выслушал меня, хмыкнул, почесал в бороде и ответил:

— Знамо, без собаки в тайге скучновато. Она друг человеку, можно с ней и словом перемолвиться. С собачкой веселее. Только дюже жаль мне своего Барса. И несподручно друга продавать. Не то время, когда, скажем, людей в рабство отдавали. Понимать надо — атомный век. — Любил дед Сидор язык почесать, душу отвести. Один жил. Поэтому рад каждому гостю. — Мой отец в старину тоже был продан барину. Бывалочи, начнет о своей продаже рассказывать, слезой изойдешь...

Дед Сидор целый час про своего отца рассказывал. А досуг ли мне слушать байки?

— Жаль друга продавать, — снова, наконец, перешел он к делу. — Но рази что для тебя. Куда ни шло. Но ты не сумлевайся. Это самое, Барс — пес зверовой.

— Да мне бы хоть за белкой пошел — и то дело.

— Хе, за белкой, ну и сказанул же ты, потеха! За белкой! Да он, если хошь, идет на любого зверя.

— И за кабаном?!

— Фу ты, за кабаном! Да он косолапых шурудит, ажно шерсть с них вон. Во кто Барс! А ты за белкой, за кабаном. Мура все то. Бывалочи, поставит медведя к дубу, я подхожу, ружье косолапому в ухо и — бац! Барс его за гриву и пошел валтузить. То-то.

Рука невольно потянулась к затылку. М-да. Я любовно глянул на огромного пса, который с затаенной злобой косил на меня желтые глаза. Успел представить, как Барс гонит косолапого, прижимает его к дереву, я подхожу и — бац! Покатился зверина.

— Сколько?

— Сотня.

— Многовато. Жена заворчит.

— А тебе что — с женой зверя ставить или с Барсом? Один медведь — и

вернешь эту сотню,— дед протянул узловатую руку, похожую на еловый выворотень.

«Хапуга. Завернул цену, хоть падай»,— думал я.

— А может быть, кота в мешке покупаю?

Дед Сидор сердито глянул на меня выцветшими глазами, дернул вниз бороду. Моя рука поспешно скользнула в карман, за деньгами. Дед поклонявил пальцы, пересчитал бумажки.

— Ни в жизнь бы не продал. Но уже свое отходил... Барсушка,— плаксиво заговорил Сидор,— ты уж, это самое, не подведи нового хозяина. Работай, как, бывалочи, со мной трудился... Забирай и катись, не то расплачусь!..

Мне это понятно. Сам однажды плакал, когда кабан смертельно ранил мою собаку. Накинул я на шею Барсу сворку и увел пса. Вначале он поупирался, но скоро смирился...

О том, что я за большие деньги купил зверового пса, уже узнали все соседи.

Сбежались и каждый свое толкует, вроде того, что такому псине и тигр не страшен. Пес охотничий. Глаза у него с живинкой. Вид гордый. На голове шишка — признак ума и смелости. Во рту девять рубцов и два рваных. С таким, мол, псом не стыдно и на собачьей выставке показаться.

На душе у меня праздник. Плечи вроде бы стали шире. Лег спать — не спится, в мечты ударился. Вот бы, думаю, завалить двух медведей. Почему двух? Потому что я уже пообещал две медвежьи шкуры. Неплохо бы и кабана завалить... Нет, лучше — трех. Да рысей этак бы с пяток. Шапок и рукавиц из их шкур нашить... Не знаю, до чего бы домечтался, если бы тревожный сон не сморил.

Чуть свет я завел своего мастодонта — машину нетребовательную, неказистую, но для тайги — в самый раз. Там, где охотник не пройдет, мой мастодонт на раме проползет. Застучала, загремела машина, будто сотню пустых консервных банок за собой потянула. На сидении — Барс, которого я то взглядом, то словом приласкаю.

Подлетел к желанному повороту на Синанчу. А Синанча — это тайга. С ходу крутой поворот — и понесся в край задумчивых гор. Они, милые, рыжие, устали от старости. Пережили тысячи времен и десятки культур. Вот здесь эти культуры

зарождались, расцветали, а затем — сгорали, не оставляя порой и следа...

Я летел на машине с ветром наперегонки. Навстречу мчались ели, кивали мшистыми бородами; холодной змейкой серебрились еще не замерзшие перекаты.

Но вот и конец дороги. Ставлю машину в тупике. Сливаю воду из радиатора, ружье в руки, рюкзак за плечи, Барса на сворку, чтобы не увязался без времени за медведем или кабаном, и почти бегом к своему верному другу Аксену, неизменному товарищу по охоте...

Над избушкой вился дымок. Она, неказистая, прижалась одним боком к каменной осыпи, слушала рокот переката, косила свой глаз на тропу. Аксен был дома. Собирался белковать, попутно проверить ловушки и капканы. Увидел меня — обрадовался. Блеснул очками. А когда выслушал мой рассказ, еще больше просиял. Однако тут же взял себя в руки и сказал с некоторым сомнением:

— Оно, может, Барс и добрая собака, только и медведь-то зверь нешуточный. Помнишь, как нас гоняла медведица в Антошкином ключе?..

Как не помнить: выгнали мы медведицу из дупла, да не свалили ее с первого выстрела, а разъярили. Пес, взятый нами у Мишки Ороचना, оказался плохим помощником, и медведица изрядно погоняла нас по тайге. Семь раз в нее палили. От восьмой пули околела. У меня от той беготни подметки у ичиг отвалились. Аксен оказался без фуфайки и шапки. Ну, шапка — ясно: смахнуло веткой ее с головы, а вот как фуфайку он сбросил — до сих пор понять не может...

— Ты точно знаешь, что этот Барс медвежатник? Ведь мы уже оба пуганы,— все еще сомневался Аксен.

— Точней точного. Дед Сидор врать не будет, хотя и горазд был раньше на чудинки. Но сейчас-то не должен, стар уже чудить-то.

— Ну-ну. Тогда бросай свою котомку, пошли. След видел в Медвежьем ключе. Должны к вечеру догнать косолапца.

Я перебрал в рюкзаке, лишнее бросил на стол. Пошли.

Барс затрусил сбоку. Когда вышли на след медведя, пес обнюхал отпечаток когтистой лапы и презрительно поднял ногу. Аксен окончательно поверил в Барса, широко улыбнулся:

— Считай, печенка медведя у тебя в котомке,— сказал он.

— Прежде чем это случится, ты бы подвязал тесемкой очки. Мало ли что?

— Не учи.

— А помнишь, как ты кабана упустил из-под носа, потому что очки свалились?

— Не учи, говорю. Тот раз мы были без собаки, спешили, а сейчас с нами, как видно, надежная псина.

След медведя завел нас в непролазные чащи и берложные сухостойники. Каждый шаг давался с трудом, ноги путались в плетях лимонника, буреломных завалах, сучьях.

Здесь дневали изюбры. Мы не раз слышали, как они с легким поскоком убежали от нас. Бесшумными тенями исчезали кабарожки. Но Барс и ухом не вел, только вдыхал глубоко таежный морозный воздух и снова трусил впереди, этак шагов за пять от нас. Аксен сиял. Ударился в рассуждения:

— Собаку по крупному зверю я за версту отличу. Такая собака уж коли взяла след, зряшно мотаться не будет. Изюбры для нее мелочь. Это простая

дворняга готова бежать по свежему следу зайца, бросив след медведя.— Тут Аксен вздрогнул, взял меня за рукав и прошептал:— Медведь!

— Нет,— говорю ему,— вроде выворотень.

— Ты глянь на Барса. Готовь ружье!

Барс, пружиня лапы, подкрадывался к выворотню. Мы затаили дыхание. Ружья наготове. Пес потянулся, шумно обнюхал выворотень, затрусил к нам.

— Осечка. Ну и ладно. Бывает,— успокоил меня Аксен.

В тот день зверя мы не догнали. Медведь дважды принимался рыть берлогу, но по непонятным причинам бросал.

— Бурый! Ишь какой след: мой ичиг свободно вмещается.

— Знамо, бурый, гималайский берлогу рыть не будет. Он больше в дуплах спать любит. Сухо и не дует.

Пришлось соорудить нодью, спать под открытым небом, под мерцанием звезд. Поговорили о том, о сем, и тут взбрело в голову Аксену, чтобы я продал ему Барса.

— Продай, Иване, вдвое заплачу. Сам знаешь, как трудно мне без собаки.

— Не могу, Аксен. Без собаки и я, как без рук. Маята, а не охота.

— А разве я не маюсь? Ну, не хочешь продать, тогда хоть оставь на время, до следующего приезда.

— А ты бы оставил?

— Какой разговор.

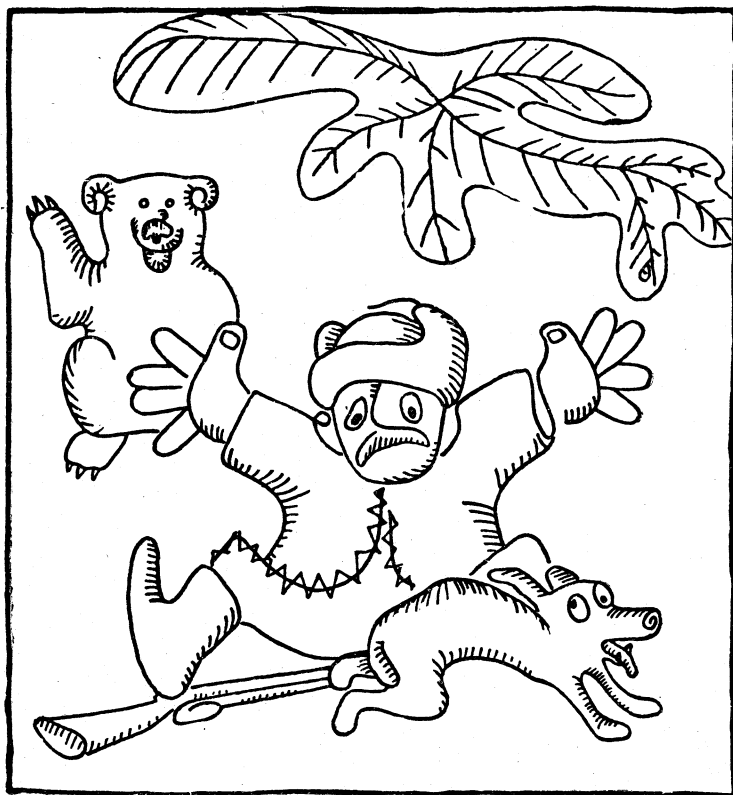
— А помнишь, когда ты болел, у тебя на цепи сидел Полкан, а я уходил на охоту, что ты сказал?

— Ну, сказал, с языка сорвалось.

— «Ружье, собаку и жену я никому не доверяю». Так?

— Пусть так.

— Ладно. Я не такой, как у твоего отца дети. Жену с собакой не сравниваю... Оставляю тебе Барса. Мужик ты надежный. Но если что... Пеняй на себя! — пригрозил я на всякий случай.



— Вот это по-братски, это по-дружески. Век не забуду твоей доброты. За Барса не сомневайся, сам костями лягу, но его уберегу...

Ночь покрутились у нодьи, а чуть свет снова пошли по следу. Медведь начал плутать по сухостойнику, искал себе подходящее место для берлоги.

— Вот привередливый, со вкусом ищет фатеру. То дупло ему не по нраву, сквозняк, боится воспаление легких схватить, то земля сыровата,— ворчал Аксен.

И вот... На снегу мы увидели свежоотрытую землю. Будто геолог канаву заложил. Барс враз припал на лапы, затаился. Мелкая дрожь прошла по его телу. Не поймем, то ли он трусит, то ли трясется от возбуждения.

Скрипнула валежина. Как по команде, мы повернули головы и замерли. К нам на задних лапах шел медведь. Здоровущий, бурый. Нес в охапке сухие листья. Это он постель себе готовил, чтобы бокам было мягко и не сыро от земли. Я вскинул ружье, поймал на мушку зверя, но в эту секунду мне под ноги бросился Барс. Выстрел. Медведь выронил листву, она, подхваченная ветерком, закружилась. Зверь заревел. Затряс раненой лапой. Выстрелил и Аксен, но промазал впопыхах. Второй патрон у меня дал осечку.

— Барс, куси! Ату! Взять! — кричал я, поспешно толкая патрон в ствол. Но патрон оказался дутый, не входил. Бросил его на снег, вырвал из патронташа еще пару, втолкнул. Но... Барс снова бросился на меня, сбил с ног. Я упал на валежину, Барс оседлал мою спину и залился трусливым лаем. Аксен еще два мазанул по медведю, кинулся за дерево, запнулся, упал, потерял очки. Я изо всех сил старался сбросить с себя Барса, наконец отбил от здорового пса ногами и руками. Но где ружье? Я ползал на четвереньках, взрывая снег.

Рев медведя, треск валежника, визгливый лай Барса. Наконец, ружье у меня в руках, Аксен нашел очки. Вскочили мы на ноги.

Барс снова кинулся ко мне, но ударом приклада я отбросил его в сторону. И не знал — спастись ли мне от собаки или убежать от разъяренного зверя. Но все обошлось. Медведь, оказывается, и не пытался на нас нападать, он рыкнул напоследок и на трех лапах побежал под гору. Даже выстрелить не успели.

— Ну, слава богу, ушел! — выдохнул Аксен.

— Проклятая собака! — рывкнул я на пса, но Барс, чуть поскуливая, радостно помахивал хвостом.

Аксен сел на валежину и сказал:

— Сколько раз зарекался не ходить со случайными, непроверенными собаками. Снова едва живота не лишился.

— А кто же их для тебя будет проверять? — заорал я на Аксена.— Подай ему проверенную! Хочешь знать, Барс лаем медведя остановил. А ты — мазила. К тому же Барс, может, идет только за гималайскими медведями, а этот — бурый. Вот найдем белогрудку. и там до конца узнаем его способности,— выпалил я без передышки.

— Ослобони, хватит с меня и бурого,— устало махнул рукой Аксен.— Будь на месте этого медведя другой, хотя бы черный, можно было бы моей бабушке записывать нас в свой поминальник.

— Трус, рохля, я один пойду искать белогрудку! — кричал я.

— Иди, иди, тот позлее будет бурого... Нашел пса-вахлака! Где это видано, чтобы хозяина с ног сбивать?! Как увидел я такое, руки затряслись. Потому и мазал. А тут очки...

— Говорил я тебе — привяжи их покрепче, не слушал!

— Не слушал. Знай я, что этот пес трусливее зайца...

— Молчи. Я тоже не пророк. Гони деньги и забирай Барса. Сам просил. Могу десятку сбросить.

— А ты знаешь, Иване, я раздумал. Расхотелось мне такого красавца иметь. Еще какой дурак украдет.

— Ну, тогда хоть возьми на время, может, он осмелеет.

— Нет, и на время не надо. Собака денег стоит. Не обессудь...

Осмотрели мы след раненого медведя, решили, что не надо его трогать, сам должен кровью изойти. Из передней лапы на все стороны хлестала кровь.

— Завтра мы его подберем. Пошли в зимовье. Надо отдохнуть и душой помягчить.

— Пошли.

Идем и незлбиво подтруниваем над собой. Барса клянем. Деду Сидору пару недобрых слов послали.

И вдруг к нам почти под ноги выскочил самец-кабарга. Гон у них в это время бывает, поэтому они забывают об ос-

торожности. Аксен вскинул ружье, грохнул выстрел, самец сунулся в снег.

Я попытался натравить пса на раненого зверя. Барс бросился было на кабаргу, но та поднялась, сделала пару шагов и рухнула, зацепив Барса. Пес взвизгнул, метнулся в сторону, ударился головой о дубок, шарахнулся, налетел на кедр. И закричал. Честное слово, это был не лай, не визг, а крик, истошный крик:

— Ай-ай-ай-аяй-яй!

Барс покатился кубарем под взлобок и такого стрекача задал, что только снег завихрился.

— Ну, вот и все. Убежала твоя сотня рубликов. Лови! — захохотал Аксен.

На зимовье Барса не оказалось. По следу было видно, что Барс пробежал мимо зимовья и не заметил его. Да, сто рублей плакали, но на душе стало легче.

После двухнедельной охоты я завернул к деду Сидору. Дед снова обрадовался моему приходу. Оглядел свою бороду, усмехнулся одними глазами и спросил:

— Ну, как Барс?

— А ты как думаешь?

— Думаю, что настала пора вернуть твои денежки. Спасибо за услуги, что избавил от такого пса. У самого рука не поднималась. Собака, ведь, друг человека...

— Друг! Из-за твоего хваленного Барса я еле жив остался. Сдох твой Барс, от страха сдох.

— Так-так. Должен был сдохнуть. Он от крыс убежал за девятую сопку... Ну, ежели все обошлось,— за это и выпить не грех... А ты в другой раз не слушай байки бабушки Луши. Да-да, не слушай. Для смеху тебя разыграли.

Дед достал из шкафчика початую бутылочку, налил себе и мне.

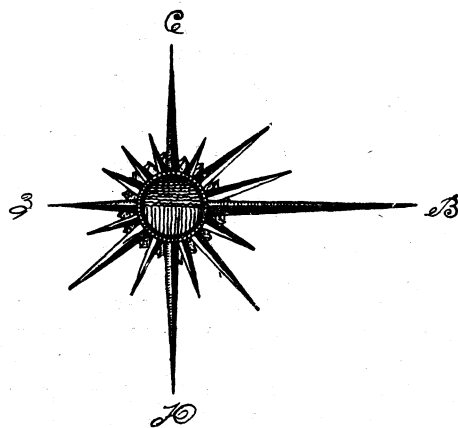
— Ну, мир праху его! — поднял дед мутный, давно немый стакан.

В это время в сенках послышался жалобный скулеж.

— Ой, ей богу, он! — дед поперхнулся. Откашлявшись, утер бороду и приоткрыл дверь:— Барсушка... Заходи, родимый!



Тайна атолла Суворова



Кто не читал романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ»?

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Ио-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Ио-хо-хо, и бутылка рому!

Под эту песню от корабля отплыла шлюпка, нагруженная сокровищами... Что в этом романе выдуманно, а что было на самом деле?

Стивенсон в статье «Моя первая книга «Остров сокровищ» признается, что, сочиняя роман, он пользовался «экземпляром джонсоновских «Пиратов». А кто такой Джонсон?

В 1724 году в Лондоне вышла книга с таинственным и многообещающим заглавием: «Общая история грабежей и убийств, совершенных наиболее известными пиратами». «История» была распродана в одно мгновение, а через два года вышло ее уже четвертое, расширенное и дополненное издание. И это неудивительно: ведь ее автор, капитан Чарльз Джонсон, писал о том, что знал хорошо, — он сам был одним из героев своей «Общей истории грабежей...» Эта-то книга и послужила для Роберта Стивенсона своеобразным справочником.

Часть своих героев, таких как Флинт, Билли Бонс и Сильвер, Стивенсон выдумал. Но что касается Эдварда Инглэнда, Хоуэлла Дэвиса, Бартоломея Робертса и Израэля Хендса — эти герои перекочевали в «Остров сокровищ» со страниц джонсоновских «Пиратов». Но сколько бы мы ни листали «Общую историю грабежей и убийств...», найти в ней описание стивенсоновского острова сокровищ не удастся. Вернее, там описаны десятки подобных мест, — пираты зарывали свои клады на многих островах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Но к которому из них пристала шлюпка с сокровищами стивенсоновских героев?

Все адреса к кладам, указанные Джонсоном, ко времени выхода знаменитого романа, а Стивенсон его опубликовал в 1883 году, были, разумеется, проверены. Как и следовало ожидать, почти все они оказались «пустыми». Стивенсон это, конечно, знал и, понимая, что успех его книги будет во многом зависеть от того, насколько он достоверно опишет остров сокровищ, джонсоновскими «адресами» не воспользовался. Но вряд ли писатель этот остров и выдумал. Подтверждением того, что остров сокровищ существует в реальности, служит хотя бы такой любопытный факт, что скелет в пещере, который по роману должен указывать путь к сокровищам, Стивенсоном не выдуман. В 1926 году на острове принца Уэльского в Торресовом проливе обнаружена пещера, очень похожая на описанную Стивенсоном, а в ней скелет с испанской саблей и золотым бокалом. Возможно, Стивенсону история смерти этого пирата была известна из каких-то документов. Но никаких кладов на острове принца Уэльского никто не находил.

Чтобы разобраться, какой же остров послужил Стивенсону адресом, обратимся к хронике тех лет, когда создавался знаменитый роман.

В 1875 году новозеландская фирма «Хендер-



сон и Макфарлан» отправил на один из атоллов, находившихся примерно в девятистах милях к северо-западу от острова Таити, своего торгового представителя Хэндлая Стернда. Атолл состоял из нескольких островов, и на одном из них — Якорном — Стернда построил причал, склад и жилой дом. Для добычи жемчуга и заготовки копры он нанял и перевез на Якорный полинезийцев.

Дела у Стернда пошли настолько хорошо, что когда подошло время делить прибыль, он потребовал, чтобы владельцы фирмы считали его полноправным партнером, а не мелким наемным служащим. Владельцы с этим не согласились и приказали ему вернуться обратно в Новую Зеландию. Когда Стернда отказался выполнить распоряжение, к Якорному пришла шхуна под командованием Хендерсона, и дом Стернда подвергся осаде. На этой шхуне находился один из друзей мятежника, Генри Мейр. Мейр решил помочь товарищу. Тихо спустившись ночью в воду, Генри поплыл к острову, моля судьбу, чтобы не встретился голодные акулы. Шхуна стояла довольно далеко в море, он совершенно обессилел, пока достиг берега, и лег на песок, чтобы отдохнуть.

Неожиданно из воды выплзла большая черепаха, остановилась рядом и начала рыть яму для яиц.

Море было совершенно спокойно. Генри уже поднимался на ноги, когда ему послышался металлический звон. Не веря своим ушам, он огляделся, подошел к черепахе и... увидел блестящие в лунном свете монеты. Генри собрал их, потом, перекапывая руками песок, нашел еще несколько золотых кружочков и в конце концов наткнулся на маленький железный сундучок. В сундучке лежали золотые монеты и кольца, украшенные драгоценными камнями.

Боясь, что команда шхуны отнимет сокровища, Мейр зарыл большую часть клада под деревом, росшим у самого берега, а с собой взял только несколько колец и монет. После этого он незаметно пробрался к дому Стернда.

Спустя семнадцать дней голод и жажда заставили осажденных сдаться. Обратите внимание, вся эта история напоминает страницы романа «Остров сокровищ», описывающие осаду форта.

Руководители фирмы «Хендерсон и Макфарлан» хотели возбудить против мятежников уголовное дело, но поскольку инцидент произошел за пределами страны (атолл находится под контролем Новой Зеландии только с 1889 года), суд рассматривать дело отказался.

Мейр хотел вернуться на атолл и откопать клад, но каждый раз что-нибудь ему мешало. Мог знать об этой истории Стивенсон? На-



верняка, ведь в то время Новая Зеландия входила в состав Британской империи, и все, что происходило в ее колониях, описывалось в лондонских газетах. А история с кладом, найденным Мейром, не могла остаться незамеченной хотя бы потому, что это уже был третий клад, обнаруженный на атолле Суворова, в состав которого входит и остров Якорный.

Любопытно, что первый клад был обнаружен еще при жизни адмирала Лазарева, открывшего и нанесшего на карту этот заброшенный клочок суши в Тихом океане. Но вряд ли прославленный адмирал мог предполагать, что открытый им атолл был известен еще пиратам.

Вот как описывает Лазарев встречу с атоллом.

27 сентября 1814 года (по старому стилю) над кораблем «Суворов», который шел из Австралии к берегам Северной Америки, появилось множество птиц. Вечером их стало еще больше.

Птицы садились на палубу и снасти, позволяли брать себя в руки.

Предполагая, что вблизи находится какая-то не нанесенная на карту суша, Лазарев дал команду уменьшить количество парусов. После захода солнца «Суворов» шел уже под одними марселями.

В 11 часов вечера моряки заметили справа по борту, на юго-востоке, низкий островок и услышали шум бурунов. Хотя лот не доставал дна, Лазарев приказал лечь в дрейф, чтобы не наскочить в темноте на рифы или мель.

Моряки поздравляли друг друга с открытием неизвестного клочка земли. На рассвете стали видны еще четыре низких острова. Почти не спавший от волнения Лазарев приказал спустить на воду две шлюпки.

В одну из шлюпок сел сам с лейтенантом Унковским, в другой отплыли штурман Российский и судовой врач Шеффер.

В этот день успели обследовать только южный островок.

Вернувшись на корабль, Лазарев собрал команду, объявил, что на картах последнего выпуска суши здесь не обозначено, и предложил назвать открытую землю в честь корабля островами Суворова.

На следующий день осмотрели северный островок. Островки соединяли коралловые банки, в некоторых местах почти достигавшие уровня воды. Чтобы попасть на северный островок, Лазареву и Унковскому пришлось вылезти из шлюпки и пройти вброд полмили.

Вторую шлюпку, в которой были Российский и Шеффер, над коралловой банкой атаковали акулы, и моряки отбивались веслами и кортиками.

В тот день Лазарев записал в судовом журнале: «На островах сих нет ничего, кроме птиц, земных раков и крыс, кустарников, а местами и кокосовых деревьев; пресной воды и следов человеческих на оных не отыскано».

Шли годы. Лазарев совершил еще два кругосветных путешествия, стал адмиралом. В конце 1850 года Михаил Петрович тяжело заболел и вскоре умер. Вероятно, он уже не узнал, что в том же, 1850 году, на атолле Суворова нашли первый клад. Как это произошло?

Американское китобойное судно «Жемчуг» потерпело крушение у одного из островков атолла, Якорного, и с Таити, чтобы спасти груз, была вызвана шхуна. Неожиданно суперкарго¹ со шхуны заявил, будто у подножия одного из банановых деревьев зарыт клад. Однако он отказался сообщить, откуда ему это известно.

Суперкарго переходил от дерева к дереву,

¹ Суперкарго — лицо, отвечающее на судне за грузы. Обычно — второй помощник капитана.

протыкая песок железным штырем, и наконец указал, где надо рыть яму. Действительно, из ямы извлекли железный сундучок, наполненный американскими золотыми и серебряными монетами на сумму в пятнадцать тысяч долларов.

Второй клад на Якорном был найден лет через десять. Один из таитян, живший добычей жемчуга и случайной работой, продал владельцу маленького торгового судна за двадцать долларов грубо выполненную карту, на которой были обозначены два клада. Один находился у подножия железного дерева на островке Якорном, другой — на коралловой скале в лагуне около острова Моту-то.

Приплыв с Таити на атолл, торговец действительно нашел на Якорном на глубине около метра железный сундучок с мексиканскими и испанскими монетами. Второй клад в лагуне Моту-то отыскать не удалось.

Ну, а третья находка на Якорном — сундучок Генри Мейра — относится ко времени, когда Стивенсон начал писать свой роман. Интересно, однако, что описанный им остров сокровищ искали не в Тихом океане, хотя атолл Суворова прославился своими кладами уже задолго до выхода романа, а в Карибском море, в Атлантике, где больше всего свирепствовали пираты. И лишь уже в наши дни догадались, что островом сокровищ мог быть атолл Суворова. В 1961 году стало известно, что на атолле два года тайно прожил новозеландец Том Нейп. Чем там занимался новоявленный Робинзон Крузо, трудно сказать. Но не исключено, что он искал сокровища, зарытые когда-то на этих островах стивенсоновскими героями, вернее их прообразами.

Б. ГОЛДОВСКИЙ

«Гелиос» спешит на помощь

У капитана были красные глаза. Он потрянул головой, прогоняя остатки сна, устало потер ладонями виски. «Где радиogramма?»

Радиogramму вручил третий штурман.

Самойленко склонился над картой, прочитал сообщение, крестиком пометил координаты. Взглянул на часы. Было без четверти двенадцать. Полночь. Он с сожалением подумал, что за последние сутки отдыхал всего сорок минут. И опять надо идти в море...

Капитан подошел к иллюминатору и раздвинул шторы. На противоположной стороне бухты приветливо мигали огоньки.

В штурманскую стремительно вошел Борисов.

— В Уссурийском заливе оторвало льдину с рыбаками-любителями. Нам предложено найти их и снять...

— Знаю, — оторвался от иллюминатора капитан. — На подготовку даю десять минут.

— Есть! — откозырял старший штурман.

— Не забудьте сказать повару, чтобы зава-

рил кофе.. Доктору приготовить необходимое. Могут быть обмороженные...

Аркадий Яковлевич знал, что Борисов сделает все необходимое. Он спустился в каюту, включил электрокофейник. Две чашки кофе и яйцо всмятку взбодрили его. Ровно в двадцать четыре часа он уже стоял на мостике, отдавая распоряжения простуженным, хриловатым головам.

Судно развернулось на выход из гавани. Капитан перевел стрелку машинного телеграфа на «средний вперед», опять повернулся к уплывающему за корму берегу. В его усталом мозгу отчетливо всплыли события последних суток...

Десятибалльный шторм. Озверевшие волны били спасателя по бортам, заливали палубу и надстройки. И надстройки тотчас же покрывались слоем льда.

Под напором ветра останавливалась даже

рама радиолокатора. А без локатора найти потерпевшее бедствие судно в такой метели невозможно.

«Гелиос» часто менял курсы, то приближаясь к берегу, то удаляясь в море... Прошло три часа. Напрасно радист спасателя посылал в эфир сигналы. Эфир молчал.

В рубку вошел старший штурман.

— Придется ждать рассвета,— страхивая с капюшона плаща сырой снег, сказал он.— Или вызвать на розыски еще одно судно...

Самойленко не ответил, потом кивком головы пригласил штурмана за собой. В штурманской он наклонился над картой. Сказал в раздумье:

— Ветер зюйд-ост. Сейчас прилив. Значит траулер несет сюда,— карандаш в руке капитана остановился около мыса Поворотный.— Тут и искать будем...

Штурман возразил:

— Мы не знаем места, где траулер налетел на плавающую льдину. Координаты нам сообщили весьма приблизительные. Если траулер потерпел аварию мористее, то его пронесет мимо мыса.

— Возможно,— согласился капитан.— И все же распорядитесь сменить курс.

«Гелиос» резко наклонился, поворачивая почти на шестьдесят градусов. И вдруг крик вахтенного:

— Ракета!

— Где? — В одно мгновение капитан оказался на крыле мостика.

— Слева, по носу!

— Боцману и матросам на палубу! Второму штурману на эхолот!

Сбавив ход, «Гелиос» пошел на сближение.

— Десять метров, девять, семь, пять с половиной...

— Проектор!

Яркий луч света с трудом пробился сквозь метель. Теперь хорошо было видно терпящее бедствие судно. До самого борта затопленная корма, запрокинулись назад мачты, высоко поднят нос...

— Четыре метра под килем! — доложил второй штурман.

— Стоп машина!

Спасатель теперь шел по инерции.

— На баке, приготовиться к подаче концов! Боцман Грибов оглядел матросов. Бросать конец надо будет далеко и метко. Кому поручить?

— Ты, Кирсанов! — указал он на коренастого светловолосого парня. — Ты, Чернов! — Второй матрос стал сматывать на руку, как лассо, тонкий лить с грузом — «грушей» на конце. — И ты, Баранюков!

«Гелиос» прошел около траулера метрах в двадцати пяти.

— Пошел! — скомандовал боцман.

Разом взметнулись в воздухе и, разматываясь на лету, полетели к траулеру три выброски. Встречный ветер отбросил их в сторону и они друг за другом плюхнулись в воду.

Капитан переставил ручку машинного телеграфа.

— Право на борт!

«Гелиос» описал дугу и опять приблизился к траулеру.

— Четыре метра, три с половиной, три...

— Средний назад!

Телеграф отозвался мелодичным звоном. И опять на борт траулера полетели выброски.

— Есть! — вскрикнул Баранюков и стал торо-



пливо выбирать выброску, конец которой моряки траулера закрепили к толстому буксирному канату.

Грибов, спокойный и уравновешенный, быстро отдавал команды. Наконец буксирный канат закрепили к буксирной лебедке.

Осторожно стали стаскивать траулер с мели.

— Прямо руля! Малый вперед!

Рывок, еще рывок. Ход увеличили до среднего. Траулер медленно, словно нехотя, сошел с грунта.

Между тем начинался серый зимний рассвет. По-прежнему шел мелкий снег. Но ветер затих. О шторме напоминала только мертвая зыбь.

С траулера «Вьюга» сообщили, что на судне пропорот борт. Затоплено машинное отделение. Сообщили также, что на отмель их выбросило ветром.

— Выбрать буксир!

Старший штурман в недоумении уставился на капитана.

— Будем брать траулер к борту,— пояснил Самойленко. На палубе «Гелиоса» забежали матросы. Готовили мягкие кранцы.

Работали бесшумно, ловко. Вскоре «Гелиос» пришвартовался к борту траулера. А через десять минут после швартовки отливные помпы «Гелиоса» заработали на полную мощность. Вода в машинном отделении «Вьюги» стала убывать.

А на спасателе уже готовились к подводным работам. Нужно было выяснить размер пробойны, подготовить корпус к заводу пластыря...

Под воду спустился водолаз Красин.

Вскоре он сообщил по телефону: «У «Вьюги» пробойна в левом борту. В двух местах от удара об лед разошлись швы».

— Наверх давай,— передал старший водолаз.— Небось замерз там?

— Чувствую себя хорошо,— ответил Геннадий.— Подавайте концы пластыря.

Началось самое трудное. Моряки спасателя и траулера заводили пластырь, тянули и крепили концы. К полудню гигантская пеньково-брезентовая повязка затянула подводные раны судна. Опять заработали мощные насосы спасателя. Все выше и выше поднималась корма траулера. Но течь все-таки не прекращалась. И тогда капитан решил рискнуть еще раз — вести траулер в порт, не прекращая работы насосов. То есть в связке со спасателем. Лишь ночью «Вьюгу» пришвартовали к стенке причала. И в судовом журнале «Гелиоса» появилась короткая запись: «Спасательные работы окончены. Траулер «Вьюга» доставлен в порт...»
...Самойленко грянул головой, отгоняя воспоминания и поднял трубку радиотелефона.

— Диспетчерская!

Получив подтверждение, сказал:

— Снялся в двадцать четыре. Иду на поиск людей, унесенных ветром на льдине. Выхожу на связь каждые полчаса.

И перевел ручку телеграфа на «полный вперед».

Я. ВАДИЛЬЕВ

Найди, узнай, подумай!

На третьей странице обложки помещены портреты хорошо известных русских писателей. Назовите их!

ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ,
ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 10
Фотограф заснял березовую кору.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛОДЕЙНЫЙ КОРМЩИК 2
Е. Богданов. Повесть

СТИХИ.

В Панченко, Н. Стариков, 22
В Тряпша, Т. Белозеров.

В ЖАВОРОНОЧЬЮ ПОРУ 24
В. Климущин. Рассказ

БАРСУШКА 71
И. Басаргин. Рассказ

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

ДВЕ НЕДЕЛИ В ПЯТОЙ РОТЕ 30
А. Устюгов. Из фронтового дневника

КРАЕВЕДЕНИЕ

ШКАТУЛКА МИХАИЛА ХУРАМШИНА 61
Л. Комаров, Е. Ховив

ЛЕДЯНАЯ АРХИТЕКТУРА БАЙКАЛА 70
М. Софер

ДОРОГАМИ ПОИСКА

ПО МАРШРУТАМ УЛЬЯНОВА 18
А. Глазков. На приз нашего журнала

СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА 21

ТАЙНА АТОЛЛА СУВОРОВА 76
Б. Голдовский

«ГЕЛИОС» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 78
Я. Вадильев

НАУКА, ТЕХНИКА, ТРУД

УРАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ 49
Т. Ефимова. Очерк

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 57
Д. Финкельштейн

АЗ, БУКИ, ВЕДИ 67
В. Житников

ИЗ КНИГИ ПРИРОДЫ

КТО СИЛЬНЕЕ?
КРЫЛАТЫЙ ПАСТУШОК. КОГДА
РАКИ НЕ ПЯТЯТСЯ.
БАБУШКИН ПОДКИДЫШ 63
Н. Николаев. Рассказы

Обложка В. Воловича и С. Киприна

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

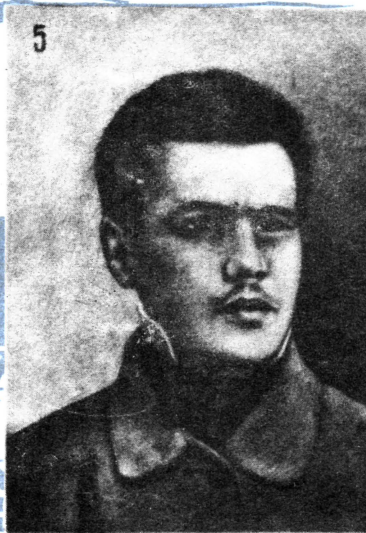
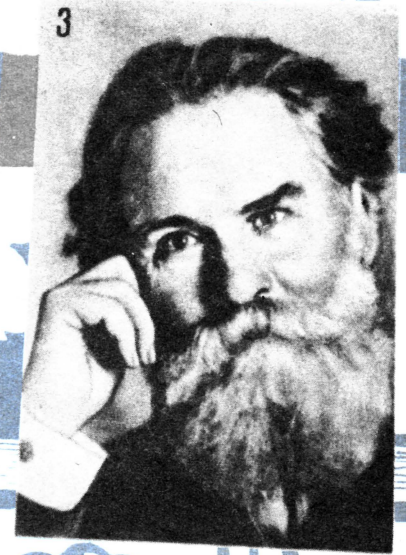
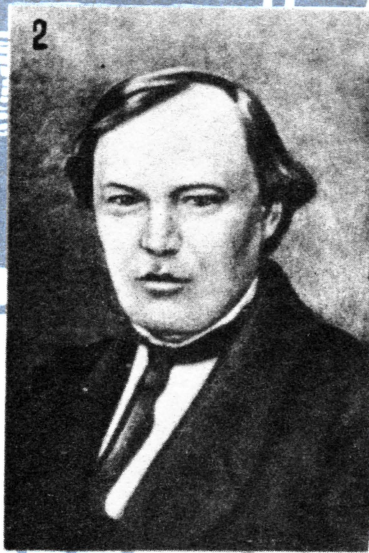
Технический редактор Э. Максимова

Корректор В. Бурангулова

Адрес редакции: Свердловск ГСП-353, ул. Малышева 36, комн. 79 и 87. Телефон Д1-22-40

Подписано к печати 21/X 1969 г. Бумага 84×108/16=2,62 бум—8,82 печ. л. Уч.-изд. л. 9,87.
НС 13290. Тираж 132 000. Цена 30 коп. Заказ 477.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Ленина 49. Обложка и вклейка отпечатаны на Свердловской фабрике офсетной печати.





В. ПРОКОФЬЕВ.

„Там вдали за рекой...“

20 коп

73413

Главный редактор И. АКУЛОВ
Редколлегия: В. АЛЬТОВ, А. АСС, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), М. ГРОССМАН, Ю. КУРОЧКИН, О. ЛЕОНОВА, А. МАЛАХОВ, МУСА ГАЛИ, В. НИКОНОВ, Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), В. ШУСТОВ